

Соколов Николай, Зайцев Варфоломей. Отщепенцы

1866, источник: [здесь](#). В своем заключении цензор написал, что книга „представляет сборник самых неистовых памфлетов, имеющих целью подкопать все основы цивилизованного общества. Вера, политика, власть, гражданское и судебное устройство, правила нравственности подвергаются в ней самым необузданным нападениям“. Тираж сожгли прямо в типографии, а авторов уперли в Петропавловскую крепость.

Соавтором произведения был В. Зайцев, написавший первую часть „Историческое отщепенство“.

- [Краткая биография Н. Соколова и история написания "Отщепенцев"](#)
- [Шахматов Борис. Соколов Н. В.: биографическая справка](#)
- [Отщепенцы](#)
- [Историческое отщепенчество](#)
 - [I. Стоики](#)
 - [II. Христиане](#)
 - [III. Секты](#)
 - [Как пропадают верования](#)

- IV. Утописты
- Развалины. Размышление о падении государств (Вольнея)
- Современное отщепенчество
 - Социалисты
 - Фурье
 - Прудон
- Заключение
- Примечания

Краткая биография Н. Соколова и история написания "Отщепенцев"

Николай Васильевич Соколов (1832—1889) родился в дворянской семье; отец его был гвардейцем. В 1845—1853 гг. Николай Соколов — кадет сначала Александровского кадетского корпуса, а затем Дворянского полка в Брест-Литовске. Произведен в офицеры и определен в лейб-гвардии Волынский полк в 1853 г. В 1855—1858 гг. слушатель Академии Генерального штаба. В мае 1858 г. участвует в военных действиях против Шамиля на Кавказе. В следующем году назначается старшим адъютантом генерального штаба войск Восточной Сибири; в сентябре 1859 г. отправлен курьером в Пекин в распоряжение генерала Игнатьева.

Военная карьера Соколова складывается, кажется, самым блестящим образом.

Но вот в 1860 г. он получает шестимесячный отпуск и едет за границу. И в судьбе его происходит поворот от службы, направленной на укрепление государства, к деятельности, цель которой — разрушение государства. За границей он знакомится с Прудоном и становится убежденным последователем французского анархиста.

В 1862 г. Соколов выходит в отставку в чине подполковника и начинает сотрудничать с журналом „Русское слово“. В 1863—1865 гг. он находится за границей: навещает Герцена, дает уроки его дочерям. Произносит речь на могиле Прудона. В 1864 г. пишет книгу „Социальная революция“ (издана в 1868 г. в Берне).

Вернувшись в Россию, работает вместе с В. Зайцевым над книгой „Отщепенцы“. Выход в свет книги совпал с „каракозовским делом“.

В апреле Зайцев и Соколов подвергаются аресту и заключению в Петропавловскую крепость.

Во время следствия и на суде Соколов отвергает обвинения в призыве к неповиновению верховной власти и в порицании христианской веры, пытается убедить своих судей в том, что социалистические идеи не противоречат христианству. Его приговаривают к одному году и 4 месяцам содержания в крепости.

С 1868 г. Соколов отбывает ссылку в Мезени и Красном Яре Астраханской губернии; в 1872 г. бежит за границу, навещает М. Бакунина и В. Зайцева в Локарно. В 1881—1882 гг. живет в

Женева, потом — в Париже, где и умирает в больнице для бедных.

Литературная деятельность Соколова длилась, по существу, всего 5 лет — с 1862 по 1866 г. Написано им не много; его известность в истории русского освободительного движения связана главным образом с книгами „Отщепенцы“ и „Социальная революция“.

Отщепенцы

Существуют два издания книги: петербургское 1866 г. и цюрихское 1872 г. Печатается по изданию 1866 года с некоторыми сокращениями.

Соавтором Н. Соколова был В. Зайцев, написавший первую часть „Историческое отщепенство“ (см. по этому поводу: Б. Козьмин. Н. В. Соколов. Его жизнь и литературная деятельность. В кн.: Литература и история, Изд. 2-е. М., Худож. лит., 1982; Ф. Кузнецов. Публицисты 1860-х годов. М., 1981).

Замысел книги возник у Соколова в феврале 1866 г. В одной из французских газет он прочитал объявление о выходе книги Ж. Валлеса „Les réfractaires“ и решил перевести ее на русский язык. Однако, прочитав книгу Ж. Валлеса, Соколов увидел, что ошибся в ней: содержание ее было сугубо бытовое, а вовсе не идеологическое, как он предполагал.

В свою книгу Соколов и Зайцев включили введение к „Les réfractaires“ Валлеса, отрывки из произведений западноевропейских писателей; глава о Тите Лабиене была переводом нашумевшего во Франции памфлета Л.-О. Рожара против Наполеона III; глава „Развалины“ взята из книги К. Ф. Вольнея „Руины или размышления о революциях империй“; в других главах содержатся цитаты из „Утопии“ Т. Мора, из произведений Фурье и Прудона и т. д.

Таким образом, отличительной особенностью книги В. Зайцева и Н. Соколова является ее компилятивный характер. Авторы, очевидно, понимали, насколько важна в революционной агитации оперативность, и, торопясь выпустить сочинение, направленное против полицейского государства в защиту революционеров-„отщепенцев“, не имели возможности провести сколько-нибудь подробный критический анализ тех произведений, которыми они пользовались. Поэтому книга „Отщепенцы“ несет на себе тень идеалистической концепции исторического процесса — концепции, присущей буржуазной историографии и публицистике. Но — только тень. Книга составлена так, что ее революционный пафос, темпераментное изложение исторических фактов, яркость и убедительность примеров борьбы прогрессивных сил с реакционными — все это должно было оказывать на читателя сильнейшее эмоциональное воздействие и убеждать в необходимости революционных перемен.

5 апреля 1866 г. книга „Отщепенцы“ поступила на рассмотрение в цензурный комитет.

В своем заключении цензор написал, что книга Н. Соколова „представляет сборник самых неистовых памфлетов, имеющих целью подкопать все основы цивилизованного общества. Вера, политика, власть, гражданское и судебное устройство, правила нравственности

подвергаются в ней самым необузданным нападениям“. (Цит. по указ. кн. Б. Козьмина, с. 379).

Исследователь творчества Н. В. Соколова, советский историк литературы Б. П. Козьмин так говорит об этой книге: „Отщепенцы“ представляли собою первую на русском языке попытку дать нечто вроде истории социалистических идей. Ярая ненависть ко всякому угнетению и эксплуатации труда, пропитывавшая эту книгу, делала ее явлением небывалым в легальной русской литературе».

Шахматов Борис. Соколов Н. В.: биографическая справка

СОКОЛОВ Николай Васильевич [16(28).11.1835, Петербург - 5.3.1889, Париж; похоронен на кладб. Баньё], критик, публицист, экономист, социалист. Из дворян. Сын эконома Школы гв. подпрапорщиков. Ребенком (по приказу Николая I) записан кадетом 2-го кадет, корпуса; после успешного окончания Александров. Брест-Литов. кадет. корпуса (1845-51) отправлен на два года "для спец. образования" в Дворян. полк (Константинов. уч-ще); в 1853 произведен в офицеры, участвовал в Крымской кампании. После ряда служебных перемещений (Несвижский, затем Волынский полк) учился в Акад. Ген. штаба, по окончании к-рой в 1857 причислен к Ген. штабу. В 1858 направлен на Кавказ, где отличился в боевых действиях против Шамиля, в 1859 (после краткого пребывания в Петербурге) в Иркутск, а оттуда курьером в Пекин.

Во время отпуска "направился прямым ходом" в Лондон, где в июне 1860 знакомится с А. И. Герценом (их беседы, возможно, послужили одним из поводов к написанию Герценом ст. "Лишние люди и желчевики" - см.: Козьмин, 1982, с. 365), от него с рекомендат. письмом едет в Брюссель к П. Ж. Прудону. Осенью, вернувшись в Петербург с запрещ. лит-рой, входит в кружок офицеров Ген. штаба, близких Н. Г. Чернышевскому (В. А. Обручев, В. М. Аничков. П. А. Бибииков и др.), знакомится с польскими революционерами (в т.ч. с З. Сераковским). С 1862 начал активно печатать статьи, касающиеся статистики и экономич. положения России (служил в это время в статистич. отделении деп. Ген. штаба), в ж. "Рус. слово", куда его рекомендовал Чернышевский, отказавшийся опубл. в "Совр." статью С. "О несостоятельности полит. экономии" (не сохр.) в духе прудоновской критики. Интересом к идеям Прудона отмечены также статьи (все - РСл, 1863): "Деньги и торговля" (No 1), "Торговля без денег" (No 2), "Чего не делать?" (No 3) и др. (отзыв на статьи С. этого периода см.: Л. П. Блюммер - "Европеец", 1864, No 4). Тяготясь службой, дважды подает прошение и получает отставку в янв. 1863 (в чине подполковника) - накануне Польского восстания (вероятно, участвовал в нем на стороне повстанцев, вместе с нек-рыми из них в июле оказался в Дрездене).

Зарабатывая уроками, осн. время посвящает знакомству с рабочим движением Германии, связанным преим. с Г. Шульце-Деличем и Ф. Лассалем. В окт. 1864 С. пишет критику идей последнего [работа "Die sociale révolution" ("Социальная революция"), Bern, 1868], соединяя прудонизм, истолкованный в рев. духе, с "евангельским социализмом" и апологией коммунизма, к-рый, по убеждению С, будет установлен в результате близкой нар.

революции. В нач. 1865, привлеченный к суду за стычку с полицейскими, бежит в Париж (без документов), где снова встречается с Герценом (в янв. - марте 1865 - его секр.) и Н. П. Огарёвым. Часто посещал Прудона (выступил с речью от рус. социалистов на его похоронах). Писал корреспонденции в ж. "L'Europe" Г. Ганеско.

Вернувшись в Петербург, возобновляет сотрудничество в "Рус. слове", откровенно проводя в статьях социалистич. идеи: "Экономии, иллюзии" (1865, No 4, 5), "Прудон о франц. демократии" (1865, No 6) и др. В полемике "Рус. слова" с "Совр." занял непримиримую позицию, особенно по вопросу об оценке экономич. взглядов Дж. С. Милля (все статьи - 1865): "Милль" (No 7), "О капитале (по поводу Милля)" (No 8, 10), "Маску долой. (Вызов редакции "Совр.")" (No 9). Лозунги, звучавшие в статьях С., делали его одним из осн. проводников идей анархизма (в прудоновской версии) в рус. легальной печати. Желая на деле осуществить утопию Прудона о бесприбыльном предприятии, С. (вместе с В. А. Зайцевым и отчасти Д. И. Писаревым) предложил Г. Е. Благосветлову передать "Рус. слово" в полную собственность подписчикам. Не найдя поддержки, "реформаторы" в нояб. 1865 "отщепились" от "Рус. слова", намереваясь заняться издательской деятельностью. В 1866 С. выпустил (в качестве бесприбыльного) сб-к своих ст. "Экономич. вопросы и журнальное дело" (СПб.) с приложением отчета об истраченном на издание капитале, а затем (под своим именем) кн. "Отщепенцы" (СПб.; написана совм. с Зайцевым в предельно короткий срок). Это была своего рода развернутая рев. прокламация, содержащая историю утопич. и социалистич. учений (включавшая в соответствии со взглядами С. и Зайцева идеи первонач. христианства и его сект, деятелей Реформации, социальных утопистов и социалистов, преим. Ш. Фурье и Прудона) и социалистич. символ веры авторов ("Многое тут было очень "крайне" и даже свирепо" - Короленко В. Г., История моего современника, М., 1965, с. 376; "книжка полная поэзии и восторженного романтизма" - Морозов Н.А., Повести моей жизни. Мемуары, т. I, М., 1965, с. 63). Представленная в цензуру в день покушения Д. В. Каракозова, книга была арестована, тираж уничтожен, а С. осужден на один год и четыре месяца тюремного заключения (отклики в печати, 1867: "Гласный суд", 11 аир., 23 июня; "Голос", 8 июня; "Весть", 9 июня; "Совр. летопись", воскресное приб. к СПбВед, 16 июля).

По отбытии заключения в Петропавлов. крепости вследствие "предосудительного поведения" ("упорное стремление распространять возмутит, идеи среди арестованных", по формулировке III отд.) С. был в 1868 сослан в Мезень, потом в Шенкурск Архангельской губ. и наконец в Красный Яр Астрахан. губ. Оттуда он в окт. 1872 бежал за границу с помощью чайковцев (думавших привлечь С. к участию в замышлявшемся издании ж. "Вперед!" П.Л. Лаврова), к-рые переиздали запрещ. кн. "Отщепенцы" (Цюрих, 1872); она стала широко известна и вошла в идейный арсенал начинавшегося народ-нич. движения. В Женеве, где знакомится с кружком Э. Реклю и Л. И. Мечникова, и затем в Цюрихе С. принял активное участие в делах рус.-польской рев. эмиграции, в частности обществ. б-ки, "стал одним из самых резких порицателей Лассалья и Маркса" (Лавров П.Л., Народники-пропагандисты. 1873-78 гг., 2-е изд., Л., 1925, с. 67); в начавшемся размежевании в рядах эмиграции примкнул к сторонникам М.А. Бакунина, хотя правоверным "бакунистом" себя не считал (подробнее см.: Стеклов Ю.А., М.А. Бакунин. Его жизнь и деятельность, т. 4, М.- Л., 1927, с. 303-07). С мая 1873 жил в Париже. Вместе с Г. А. Лопатиным основал и открыл (1875) Рус. (Тургеневскую) б-ку, ставшую знаменитой (существовала до нем. оккупации Парижа в 1940). О лит. работе С. (равно как и о его полит. деятельности) этих лет сведения крайне скудны;

по-видимому, она не была систематической из-за его приверженности к алкоголю, развившейся еще в ссылке. В 1877-88 сотрудничал в газ. "Общее дело" Н. А. Белоголового и А.Х. Христофорова ("Генеральный грабеж", 1877, No 5; "Придворный грабеж", 1877, No 6, и др.), а с 1878 в газ. "Рус. вед." (корреспонденции о Париж, выставке 1878, а затем до пол. 1880 о франц. жизни). По заказу Париж, издательской фирмы "Garni-ers Frères" составил рус.-франц. и франц.-рус. словари (РВед. Сб.). В эмиграции С. чтили как "ветерана рус. революции", и на его похоронах собрались не только все бывшие в Париже рус. и польские эмигранты, но и франц. коммунары (Ш. В. Жаклар, Г. Лефрансе и др.).

Издания

Автобиогр. (год рожд. 1832) [не оконч.]. - "Свобода". Париж, 1889. No 1; Отщепенцы. Ж., 1899: Заключение к рукописи рус. пер. кн. П. Ж. Прудона "О полит. способностях рабочих классов". - В кн.: История социалистич. учения, [т. 3], М, 1976: Отщепенцы [с сокр.]. - В кн.: Шестидесятники. М., 1984; Экономич. иллюзии. Отщепенцы. [Отрывки]. - В кн.: Утопич. социализм и России. Хрестоматия. М., 1985.

Литература

Мат-лы. собр. Особой комиссиею... по пересмотру действующих постановлении о цензуре и печати, ч. 3, СПб., 1870. с. 189-258; Еленев Ф., О злоупотреблениях лит-ры и о действиях ценз. ведомства с кон. 50-х гг. по наст. время..., СПб., 1896. с. 16; Бурцев Л. С. обстоятельное библиограф. описание редких и замечательных книг. т. 4. СПб., 1901. с. 277-78; Арсеньев К. К., Законодательство о печати. СПб., 1903, с. 66; Богучарский В., Из прошлого рус. об-ва. СПб., 1904. с. 400; Минцлов С. Р., Редчайшие книги, напечатанные в России на рус. яз., СПб., 1904. с. 43; Мат-лы для истории рев. движения в России в 60-х гг. Второе приб. к сб-кам "Гос. преступления в России", Париж. 1905, с. 196-204 (под ред. Б. Базилевского); Шишко Л. Э., Собр. соч., т. 4. П., 1918. с. 140-41; Лемке М., Сожженные и сваренные книги. - "Книга и революция", 1920, No 5; 1921, No 7; Сажин М. П. (Арман Росс), Восп. 1860-80-х гг., М., 1925 (ук.); Тихомиров Л., Восп., М.-Л., 1927 (ук.): его же. Эмиграция 80-х гг. Переговоры со Священной дружиной. Дегаевщина. - КА. 1928. т. 4(29); Русанов Н. С., В эмиграции. М., 1929 (ук.); Ефимов А., Публицист 60-х гг. Н. В. Соколов. - КиС. 1931, No 11/12; М.К. [Козмин Б. П.(?)]. "Отщепенцы". Н. В. Соколов. - "Книжные новости", 1936, No 12. с. 32; Б. К. [Козьмин Б. П.(?)]. Еще о С. и "Отщепенцах". - Там же. No 22. с. 32; Козьмин Б. П., И. В. Соколов. Его жизнь и лит. деятельность. - В его кн.: Лит-ра и история. 2-е изд., М., 1982; Добровольский Л. М., Запрещ. книга в России. 1825-1904. М., 1962; Пантелеев (ук.); Смирнов-Сокольский Н., Моя библиотека, т. I. М., 1969, с. 505-06; Лейкина-Смирская В. Р., Утопич. социалист 60-х гг. Н. В. Соколов. - В кн.: Рев. ситуация в России в 1859-61 гг., [т. 5]. М., 1970; Рудницкая Е.Л.. Из наследия утопич. социалиста С. - В кн.: История социалистич. учений. [т. 3]. М., 1976; Кузнецов Ф. Ф., Публицисты 1860-х гг. Круг "Рус. слова". 2-е изд., М., 1981; его же. Нигилисты? Д. И. Писарев и ж. "Рус. слово", М., 1983; Шахматов Б. М., Н. В. Соколов. - В кн.: Утопич. социализм в Россия. Хрестоматия. М., 1985 (перепечат. с сокр. и изд.: Алексеев П. В.. Философы России 19-20 столетий. Биографии, идеи, труды. 4-е изд., М., 2002); Щербакова Е.

И., "Отщепенцы". - "Свободная мысль". 1998. No 1. * Некролог: "Свобода". Париж. 1889. No 1. с. 20. ДРДР; ИДРДВ: СКРНЗП: БСЭ; СИЭ: Полит. мысль в России. Словарь персоналий (II в. - 1917 г.). М., 2000; Масанов.

Архивы

ИРЛИ, ф. 134 (А.Ф. Кони), оп. 4. No 258 (мат-лы об "отщепенцах"); РГБ (ф. Б. П. Козьмина - полностью подготовленные соч. С., не вышедшие в связи с закрытием изд-ва "Academia"); РГИА. ф. 776. 777; 1 АРФ. ф. 109. оп. 151. 1866 г., д. 166 (следств. дело); РГВИА. ф. 395. оп. 54, д. 1371 (ф. с. 1862 г.): ф. 400. оп. 213, 1867 г., д. 316 (о содержании под стражей).

Отщепенцы

Когда Наполеон I водил на бойню свои армии и беспрестанно требовал у Франции пушечного мяса, тогда случалось, что в деревнях крестьяне отказывались умирать во славу великого императора и бежали от набора. Какое было им дело до громкой славы и до полета наполеоновских орлов, которые залетали в Берлин, в Вену, в Ватикан и в Кремль! Облака порохового дыма не доносились до хижин, повисших на обрывах гор или заброшенных в глубину долин. Крестьяне были привязаны к своим зеленым лугам, к своим желтым нивам; они крепко держались за свою почву, как деревья, которые на ней выросли, и проклинали руку, вырывавшую их из нее. Люди полей, они не признавали такого закона, который мог бы лишить их свободы, обратить их в героев, тогда как они желали остаться крестьянами. Они не боялись опасности, не содрогались при рассказах о сражениях; их пугали не сражения, а казармы; не смерть страшила их, а жизнь. Славным походам по всему миру они предпочитали уединенные ночные прогулки вокруг хижины, где умер их старый дед с длинными седыми волосами, хотя бы гулять приходилось на глазах жандармов. Утром того дня, когда рекруты должны были отправляться в поход, они вставали до восхода солнца и укладывали свои мешки — мешки бунтовщиков, снимали со стен старые ружья, отцы давали им пуль, матери снабжали хлебом, и, распростившись, они заходили в конюшню взглянуть последний раз на лошадушку, а потом уходили и терялись в дали полей.

Их называли: «Отщепенцами».

Я буду говорить не о них. Мои «Отщепенцы» бродят в грязи городов, не обладают этими наивными добродетелями, не любят восход солнца.

Есть люди, покаявшиеся жить свободно. Вместо того, чтобы принять положение, которое свет предлагал им, они хотели сами добиться смелостью и талантами того места, которое им нравилось. Они думали, что могут силою своей воли разом достигнуть цели своего честолюбия, овладеть предметом своих желаний. Они не хотели смешаться с толпой и взять в жизни номер. Пошлость рутинной практической жизни была им невыносима: они не могли долго терпеть ее, расходились с обществом и отрешались от него. Вместо того, чтобы идти по большой дороге, они побрели в сторону по полям и очутились в страшном одиночестве, в безлюдной степи. Я называю их «Отщепенцами».

Отщепенцы те, которые делали все и ничем не сделались; которые учились всему: правам, медицине, естествознанию, военным наукам, математике — и не приобрели ни чина, ни диплома, ни привилегии, ни ученой степени.

Отщепенец — профессор, сбросивший свою мантию, — офицер, променявший мундир на цветную рубашку волонтера, — адвокат, пошедший в актеры, — священник, сделавшийся журналистом.

Отщепенцы — спокойные безумцы, восторженные труженики, мужественные ученые, которые проедают свои гроши и проживают свою жизнь, отыскивая причины общественных зол и бедствий, проповедуя вечную республику, блаженное социальное устройство, личную свободу, гражданскую солидарность, экономическую правду.

Отщепенцы — беспокойные люди, жаждущие только шума и волнений, воображающие, что им непременно нужно выполнить какое-то призвание, совершить какое-то священнодействие, защитить какое-нибудь знамя.

Отщепенец тот, кто не стоит твердой ногою в практической жизни; кто не имеет ни профессии, ни состояния, ни ремесла; кто не может ничем назвать себя: не мастеровым, ни художником, ни чиновником, ни военным, ни доктором, не купцом, ни башмачником, ни священником; у кого нет ничего, кроме своей глупой или великой, жалкой или славной мании, — все равно, как и чем бы он ни занимался: или искусством, литературой или астрономией, магнетизмом, политикой или хиромантией; все равно, — чего бы он ни добивался: основать ли банк, школу или религию, журнал, фаланстер или республику.

Отщепенцы все те, кто не думал, не умел или не желал подчиниться общей доле; кто побрел наудачу, на произвол судьбы; все те бедные сумасброды, которые, выходя в жизнь, надели семимильные сапоги и очутились в лаптях, далеко в стороне от дороги.

Отщепенцы, наконец, все те люди, ремесло которых не показано в статистических списках: изобретатели, поэты, трибуны, философы и герои.

Свет хочет обратить их в мытарей, в рабочих своих мастерских, в узаконенных, прописанных деятелей; но они удаляются от него, хотят жить особою жизнью, незавидной и горькой.

Сельский отщепенец пользуется, по крайней мере, дружбой поселян, любовью деревенских красавиц. О нем говорят на вечеринках; он всегда найдет под каким-нибудь камнем запас пороха и хлеба. Ему приходится бояться только жандармов, да и то, если «голубые» подойдут слишком близко, он подымет дуло своего ружья... еще шаг — и он выстрелит.

Но столичный отщепенец идет без хитрости и притворства, среди свистков и смеха, с открытой грудью, неся пред собой, как светоч, свою гордость. Приходит гонение и нищета и задувают этот светоч, схватывают безумца и свергают в пропасть. Я видел храбрецов, людей великодушных, благородных, которые увядали и умирали, потому что бесстрашно насмеялись в глаза практической жизни, потому что презрели ее требования и опасности. И она отомстила им, погубив их смертью медленную, в продолжительной агонии, полной жестоких огорчений, тяжких страданий, бесчеловечных мучений.

I

Странные люди! Они всегда одинаковы; у всех замечается что-то общее, кто бы они ни были — гении или обыкновенные смертные, исторические герои или безвестные бедняки, люди, именами которых гордится потомство, или бродяги без роду и племени, без имени и

родства. Жертвы славы или нищеты, бойцы на мировой арене или в темных закоулках столиц — у них всегда есть общие черты, по которым их узнают во главе восставших против невыносимой тирании или в задних рядах умирающего с голоду пролетариата, впереди умных и честных людей или в толпе невежественной черни.

Да, общество узнает их, этих отщепенцев, и в рясе священника, и в рядах войска, и на кафедре науки, и среди писателей и простых рабочих. Оно узнает их, — а гонения, одиночество, насмешки и озлобление дают им знать, что оно узнало их.

Где же те общие черты, которые выдают их? По каким признакам узнает их общество?

Оно узнает их по нежеланию идти с ним рука об руку, по тому отвращению их к рутине, которое общество называет "непрактичностью", по тому шумному и грозному или молчаливому и подавленному протесту против него, который выражается во всей их жизни и даже в смерти, не смотря на их имена — прославленные или обесславленные, громкие или безвестные, памятные или забытые среди грохота революций и битв, или среди холода и голода грязных улиц.

Всего этого общество не прощает им, потому что они нарушают его спокойствие, лишая его пагубной самоуверенности, безмятежного довольства собою, веры в свой прогресс, в свою деятельность, в свое настоящее и будущее. Они отравляют ему наслаждение всеми его благами, заставляют находить горькими все блюда, которые подаются на пире званых и давиться всяким куском. Они предвещают ему скорый конец, быстрое разложение, смерть всему, что кажется ему вечным, необходимым, абсолютным, чем оно дорожит и без чего не мыслит себя. Оно право в этой ненависти к предтечам своего падения, к зловещим птицам, которые каркают на его кровле, нарушают его покой и возбуждают тяжелые предчувствия и опасения. Оно право, потому что обществу, в котором таких людей много, действительно грозит беда. Конечно, эта беда грозит ему не от его отщепенцев: птицы, покидающие свои гнезда на кровле дома, объятых пламенем, вовсе не виноваты в пожаре. Не потому общество гибнет, что наиболее совестливые, смелые и дальновидные люди отрекаются от него, а потому они и отрекаются, что видят ложность или гнилость его основ и предвидят его падение. Общество поступает, как суеверный, убивающий собаку, которая роет яму под его окном или воеет у его ворот. Конечно, она не подрывает его дома; если дом рухнет, то просто потому, что сгнил или был выстроен на песке. Но если это копанье ямы, этот вой нарушает внутреннее спокойствие человека; если они возбуждают в нем мрачные предчувствия; если эти предчувствия мешают ему проводить безмятежно и весело последние дни, которые ему еще осталось прожить, прежде чем он будет погребен под развалинами своего жилища, то он, пожалуй, будет прав, убив нарушителя своего спокойствия. Неправ он только в том отношении, что не сознает или не сознается, что поступает таким образом с досады, из желания сорвать на ком-нибудь злость и обеспечить себе покой на последние дни. В этом отношении несправедливо и общество к своим бедным отщепенцам: оно вооружается против них, будто бы они подкапываются под него, подрывают его основы, словом, будто все зло идет от них, а без них все обстояло бы благополучно... Нет, вся вина их в том, что они видят беду раньше других, не могут в виду ее хранить спокойствие и не хотят плясать на вулкане вместе с прочими. Они видят, что эти несчастные уже обречены на смерть, что они — живые трупы, и не хотят за одно с ними

ждать катастрофы или, по крайней мере, не могут, предвидя ее, предаваться веселости и тешиться своей цивилизацией, своим прогрессом, своим искусством и наукой, развитием и надеждами, тогда как на всем этом уже лежит печать смерти, когда все это уже приняло *faciem hipocraticam*. Это вечная история Ноя и его семейства, с той только разницею, что отщепенцы не помышляют о собственном спасении, не могут строить себе ковчега, который унес бы их далеко, далеко от обреченного на гибель общества. Они могут спасти только свое человеческое достоинство, свое нравственное чувство, свое самоуважение; но физически они принуждены разделить гибель общества, если только еще раньше не погибнут от его негодования, от досады его разбитого самообольщения и отчаянной веры в себя, — а это случается всего чаще.

Ничего не может быть бессмысленнее тех гонений, которые общества всех времен поднимали с удивительным однообразием против своих отщепенцев. Между последними не все, конечно, довольствовались отчуждением от общества, гордым отстранением себя от него, отрешением своей судьбы от его участи. Не все ограничивались добровольным изгнанием себя в какую-нибудь действительную или моральную Фиваиду. В числе их всегда находились люди, которые не могли помышлять только о личном своем спасении: находились и такие, которые хотели открыть глаза другим, указать на признаки приближающейся катастрофы и убедить своих современников сойти с дороги, которая ведет к пропасти.

Такие люди не только не скрывали причин своего разрыва с настоящим, но громко указывали на них и объясняли, почему они не хотят оставаться на общих путях и говорили обществу о гнилости и ветхости его основ. И за это глупцы осуждали их, кричали, что они виновники зла, что надо спасать общество от их критики, спасать верования и убеждения от их отрицания... Вечное, постоянно повторяющееся заблуждение! Как будто здоровым, живым принципам, тем, у которых есть будущность и которым в настоящем принадлежит не один только материальный мир, не одни только фактические отношения, но и вера людей, и нравственный мир общества, как будто им страшна какая бы то ни была критика?! То, что живо, то, чему верят искренно, не нуждается в защите силой, в ограждении от отрицания и в материальном покровительстве. Да и никто не помышляет нападать на него. Принятие какого-нибудь принципа под защиту общественной силы есть признак его смерти: живых не бальзамируют.

Когда инквизиция стала защищать систему Птоломея; когда принялись кричать против безумия отрицателей, колебавших веру в устарелое и нелепое мирозерцание; когда несомненный, по-видимому, факт неподвижности Земли стал горячо отстаиваться и церковными проклятиями, и действительными мероприятиями — уже одно это, помимо всяких научных доказательств, могло служить свидетельством в пользу Коперника. Пока верили, что Солнце обращается вокруг Земли, никому, конечно, не приходило в голову рассуждать о безнравственности противного мнения и брать с людей расписку в том, что они не сомневаются в этой истине и никогда не будут отрицать ее. Следовательно, все крики против отрицателей происходят от неверия, от потери доверия к принципам.

Отщепенцы своим разрывом с обществом словом или делом отрицают истину его принципов, смысл и нравственность его теории и практики, и общество с ожесточением

преследует их! — Плохой для него знак! Значит оно само в себя не верит, не верит в свою веру, в свою нравственность, в свое добро, в свое достоинство, а другого оно не понимает, не видит и не хочет. И вот оно, неверующее, защищает верования; отрицающее само себя, преследует отрицание, между тем как отрицатели — единственные верующие в нем люди. Без отрицания нет веры, как без веры нет отрицания. Как для того, чтобы иметь право отрицать, нужно во что-нибудь верить, нужно отрицать во имя чего-нибудь высшего, так и веру можно сохранить в падающем или развращенном обществе только отрицанием.

В гнилом обществе все идет на выворот: атеист делается инквизитором и ожесточенно преследует малейшее отступление от догмата; развратники отстаивают нравственность; юридические убийцы вопиют против отрицания права; спекуляторы, откупщики и игроки призывают мщение небес и людей на оспаривающих собственность; взяточники поют о бескорыстии; люди сами в себя неверующие, разглагольствуют о святости убеждений, и мушары составляют заговоры! Всякий чувствует надобность что-нибудь отстаивать, защищать, спасать от отрицания и отпадения, и никто не видит ни малейшей нужды соглашать слово с делом, принцип с фактом, убеждения с жизнью. Чем высокопарнее рассуждают о святости принципов, тем позорнее контраст между речами и делами, чем выше превозносятся и чем жарче отстаиваются принципы, тем унижительнее и нелепее компромиссы, заключаемые на каждом шагу с обстоятельствами.

Обманывать самого себя нельзя долго при таких условиях: вскоре приходится внутренне разочароваться и, пройдя ряд этих компромиссов, утратить уважение в себе, начать лицемерить и сознательно лгать. Тогда начинается полное безобразие: компромисс возводится в догмат, в теорию, в учение; все обращается в реалистов, и ничто не подвергается большему презрению и осмеянию, как несогласие на компромиссы, сопротивление факту практической жизни, короче — непрактичность, отщепенство.

Таким образом водворяется царство лжи. Все лгут и словом, и делом, потому что говорят не то, что делают, и делают не то, что говорят. Всякая деятельность, кроме переливания из пустого в порожнее и жадного пользования всеми мелкими и скудными крохами счастья, возможного в таких условиях, исчезает и становится немыслимой. Можно ли что-нибудь делать, кроме узко-эгоистического пожирания ближних, когда наперед знаешь, что все, что ни сделаешь, что ни скажешь, будет ложь? Общество превращается в толпу авгугов, которые только потому не смеются громко друг над другом, что всем им не до смеху, так как каждому предстоит или ограбить других, или самому быть ограбленным.

Очевидно, что о живой, плодотворной деятельности здесь и речи быть не может. Каждый политический деятель во всех своих действиях знает, что они лживы и ни к чему не ведут, и знает, что таковы же действия всех прочих. Он смотрит на себя, как на обманщика, а на деятельность свою как на комедию, и все честолюбие его, как у Августа или Пальмерстона, обращается на то, чтобы хорошо разыграть эту комедию. Каждый писатель знает, что все, что он говорит, не имеет ничего общего с действительностью, и сам же первый не поступает по своей проповеди, а вместо того на каждом шагу заключает компромиссы с условиями жизни. Литература обращается в риторическое упражнение и теряет всякое значение, вместе с потерей самоуважения и уважения общества. И читатели смотрят точно также на литературу, как на средство приятно провести время, но вовсе не как на

выражение известных принципов, согласие с которыми обязывает к соответствующему им образу действий. Да ведь и нелепо было бы увлекаться речами людей, которые сами очень хорошо знают, что говорят попусту, без всякой дели, без всякого искреннего желания чтобы им поверили, и без надежды найти такую веру.

Политика обманов, литература риторики, религия *ex officio*, все частные и общественные отношения, построенные на взаимном недоверии и надувательстве — может ли это вместить в себе деятельность искреннюю, горячую, плодотворную? Нет, такое общество ожидает катастрофа, если только отщепенцы не спасут его. На краю гибели оно воображает себя деятельным, а в сущности находится в летаргии; оно толкует о бесплодности отрицания, а само неспособно ничего создать и даже поддержать самого себя; оно рассуждает о практичности, а само толчет воду, ничего не делает для завтрашнего дня, идет в смерти и не хочет сознаться, что умирает. Беда ему, если оно не послушается голоса своих отщепенцев, если им не удастся вдохнуть в это почти безжизненное тело животворный дух своего полного веры отрицания, повести его прочь от его рутины на свой путь истины, добра и чести. Еще несколько времени пребывания во лжи реализма, еще несколько побед над отрицателями, — и общество впадет в то страшное состояние полного разложения и упадка, которое такими потрясающими чертами изобразил один знаменитый отщепенец — Прудон.

II

«Теперь все сознаются, как Брут, что человеческая природа никуда негодна, что справедливость только пустое слово, так как, при опыте применить ее к жизни она оказалась незаконною и противоречивой, и ничто не дает права надеяться на лучшее устройство. Государство оказывается произвольным учреждением, годным только для интриганов и честолюбцев; религия — гаерством и орудием деспотизма. Каждый уходит в свой эгоизм или в свою добродетель. Сколько вначале было чистосердечия и энергии, в отношениях, столько теперь в них проявляется недоверия и мрачной подозрительности. Общество, незаметно удаляясь от справедливости, подошло к пропасти разврата. Что станет с ним? Проследим шаг за шагом весь скорбный путь его разложения.

Как скоро вера в справедливость поколебалась, — идеал, который ее поддерживал и сохранял в государстве и в народе, в общине и семье, — пал; на его место является новый идеал. Человек — идеалист, и, пока в нем остается хотя капля смысла, он всегда руководствуется идеалом. Но при упадке человека, падает и его идеал.

„Справедливость лжет, — говорят люди практики; — право ложно, двусмысленно, противоречиво; судья пристрастен, невежественен. Истина в тех случаях, когда она не общее только место, которое никому ненужно, оклеветана; она нам помеха; добродетель заподозрена, плаксива и всегда попадает в просак. Но богатство никогда не обманывает того, кто им обладает и умеет пользоваться; богатство — сама доброта; оно синоним красоты, потому что всегда нарядно и блистает золотом и драгоценными камнями. Что так идет к красоте женщины и достоинству мужчины, как богатство? Власть, крепко утвержденная и ловко употребляемая, также не обманывает. Счастлив тот, кому

покровительствует отец-Юпитер: он будет украшен венцом, будет обладать богатством, честью и славою; исполнятся все желания его; враги его будут пресмыкаться у его ног, и сердце его будет всегда преисполнено гордостью и весельем. Любовь и сладострастие тоже никогда не обманывали своих поклонников. Любовь заставляет страдать только тех, кто задумал примирить ее со справедливостью; сладострастие приносит вред только грубому человеку, злоупотребляющему им.

Мудрый Эпикур, ты сказал: наше высшее благо, наш желательнейший идеал — наслаждение. Наука, конечно, почтенна и заслуживает поощрения, равно как и труд; но и то, и другое лишь средства к достижению богатства, власти, наслаждения. Богатством, властью, наслаждением — этими тремя словами исчерпывается весь смысл цивилизации; в них вся человеческая мудрость. Боги наслаждений — Венера, Бахус, Комус! будьте к нам благосклонны. Пусть мы не мудрецы, за то умеем наслаждаться жизнью! Что вы нам толкуете, жрецы, о муках и наградах загробной жизни? Расставшись с телом, душа может наслаждаться лишь эфемерно, и вы должны сознаться, что материальные удовольствия, которые вы так преследуете, не лишены и идеальной стороны. Пусть бы только все люди, все наши ближние могли бы наслаждаться, как мы, богатством, властью и сладострастием! Но так как, по неисповедимым судьбам, три четверти человечества осуждены на работу без конца и отдыха, то можно ли вменять в преступление нам, счастливым и избранным земли, что мы бросаем норою несколько цветов в эту страшную бездну нищеты и, утопая в наслаждении, провозглашаем братский тост трудящемуся и лишенному наследства человечеству?

Так, во имя человеческого достоинства, которого высшим выражением должна была быть всегда справедливость, совершается разрыв между правом и идеалом. Чем же кончается?

И вот, каждый следует своей страсти, создает себе свой идеал, повинуется своему личному чувству, извлекая все выгоды из недомолвок закона, обижая и обирая своего ближнего, обманывая, воруя, грабя, убивая не теми грубыми способами, которые, предусмотрены в законе, но пользуясь теми лазейками, которые лучшие законодательства оставляют открытыми для людей с погибшим чувством долга. Напрасно тогда умножать законы: злодейство изобретательнее законодателя; в каждом новом постановлении его оно отыскивает для себя новые средства избежать кары закона. „Чем хуже состояние общества — тем больше законов“ — говорит латинская пословица. Пускай правительство прибегает в диктатуре и, подобно Августу, замышляет восстанавливать нравы: попытки его бессильны и только яснее обнаруживают общее разложение. Да и само оно вскоре погибает в общем потоке. Нет власти, которая могла бы устоять против бесчестного заговора целого общества. Под личиной мира общество ведет само с собою войну и погибает под собственными ударами.

Рисуя эту картину общественного гниения, автор не забыл и отщепенцев:

Несколько времени еще, говорит он, более сильные бойцы, подобно полководцам армии, обратившейся в бегство, стараются противостоять лозунгу: «Спасайся, кто может!» удерживая бегущих, подавая пример мужества, напоминая о справедливости со всею силою своей энергии и обещая спасение в преобразованиях. Но их не слушают: они досаждают, и

несговорчивый эгоизм указывает на них, как на врагов власти, как на язву общественного сознания. Свершилось! Бедный хочет в свою очередь наслаждаться и, не разбирая средств, сделаться богатым. Буржуа хочет быть аристократом, сельский священник — архиепископом, солдат — полководцем, гражданин — первым консулом, пройдоха — императором! Сладострастие отпращает от брака и губит семью; толпа без крова и пищи, без убеждения и веры, требует хлеба и зрелищ. Сама власть провозглашает лозунг: «Богатейте и наслаждайтесь!» Сначала ей удастся поддерживать общее оцепенение под благовидными формами; но потом, при взрыве нравственной и умственной анархии, увлекаясь сама в кипящий водоворот, без принципов, без права, вынужденная к самозащите, — она обращается в пустой призрак. Это становится сигналом отступничества, рабства, порчи, лжи, фаворитизма, контрабанды, совращений и извращений всякого рода. Война разгорается: чем более развивается лихорадочная страсть в наслаждениям, тем быстрее уменьшаются средства к ее удовлетворению. Чем страшнее тирания — тем менее ей средств к самозащите: каждый гражданин, по образу и подобию власти, замышляет в тайнике души своей, взволнованной ненасытными желаниями, свой заговор против власти. Кризисы, банкротства, убийства — мелкая монета разлагающегося государства. Эксплуатация, разврат, кража, организованная на широкую ногу явными или тайными обществами, служат выражением отчаяния сознаний, платящих общественной тирании личным мщением и злодеянием. Среди этого разбоя, идеализм, ведущий к справедливости, быстро развращается: искусство и литература, ставшие подспорьем похоти, падают; философия расплывается в поток бессмысленных слов: мизантропия заменяет общительность; ненависть прокрадывается между супругами, братьями, согражданами; наконец, грубость чувств, получая перевес над блеском роскоши и утонченностью наслаждений, приводит погибающее общество во мрак варварства и преступлений.

Историческое отщепенчество

I. Стойки

В падении римской империи [1] первый раз история представляет нам в громадных размерах зрелище смерти общества. Здесь мы встречаем трагические фигуры тогдашних отщепенцев, быть может, не умевших жить, но за то умевших умирать.

Когда, после веков дикой неурядицы и борьбы, победители подумали, наконец, о том, чтобы дать обществу, в котором они достигли господства по праву сильного, постоянные формы и прочные учреждения, они возвели в закон и право, в теорию и абсолютную истину все, что видели вокруг себя и что создалось насилием, смертельной борьбой, анархией и грубым варварством. Таким образом возникло первое основание римского права — уложение децемвиров [2]. Это уложение, эти так называемые Двенадцать Таблиц заключали в себе провозглашение государственным и гражданским правом всего, что произвели в обществе столетия кулачного права. Одно из основных положений их гласило следующее:

«Призови своего должника в суд. — Если он не пойдет, возьми свидетелей, принудь его. Если он будет противиться и захочет бежать, наложи на него руку. Если старость или болезнь не позволяют ему явиться, дай ему лошадь, но не давай носилок».

«За богатого пусть отвечает богатый, за пролетария — кто хочет. Когда он признает долг и дело будет решено, дай ему тридцать дней сроку, потом наложи на него руку и приводи к судье. Суд закрывается с закатом солнца. Если он не заплатит своего долга; если никто не захочет отвечать за него, — заимодавец уводит его и вяжет веревками или цепями, весом в пятнадцать фунтов; а захочет заимодавец, то и меньше пятнадцати фунтов. Пленник должен жить на свой счет. Если же не может, то дайте ему фунт муки или, если хотите, то и больше».

«Если он не заплатит, то держите его в узах шестьдесят дней; но трижды в торговые дни выводите его в суд и объявляйте на площади, сколько он должен».

«На третий торговый день, если заимодавцев несколько, пусть они разрежут тело должника. Отрежут ли они больше или меньше, никому нет дела. Если хотят, они могут продать его за Тибр [3] чужеземцам».

Таково было право, из которого выработалось и развилось позднейшее законодательство и шла несколько веков жизнь общества.

Это право имело гибельные последствия. Через 400 лет после того, как децемвиры формулировали в положениях Двенадцати Таблиц дух римского общества, Тацит [4] писал: «Лихоимство, наш старинный порок, — главная причина всех гражданских междоусобий и возмущений; постановления против лихоимства нарушались самими сенаторами, и ни один

из них не был чужд этого преступления».

Общество, основавшее свое право на лихоимстве и насилии, а свою жизнь на рабстве и вечной борьбе, стало, наконец, неудержимо банкротиться. «Что защищать? Что преобразовывать? — писал Тиберий [5] сенату. — Эти громадные развалины, этот народ рабов, что ли?»

Действительно: преобразовать было поздно, защищать нечего. Увлеченное логикой своих принципов, общество неудержимо стремилось к ликвидации, вымиранию и разрушению. Конечно, мало кто из современников понимал это, а кто и понимал, то не всякий высказывался. Многим империя казалась спасительной реформой: льстецы славили вечный мир, дарованный миру Августом [6]. Идиот Клавдий [7] и свирепое чудовище Каракалла [8] совершали благодетельные и гуманные реформы; процветали искусства и литература; знаменитые юристы увенчивали величественное здание римского права; во главе науки стоял Плиний [9]; Тит Ливий [10] и Тацит писали историю; поэты предсказывали золотой век:

Nic vir, hic est, tibi quem promitti saepius audis, Augustus Caesar, divi genus; aurea condet saecula qui rursus Latio, regnate per arve Saturno quondam. Вот он, тот муж, о котором тебе возвещали так часто:

“ Август Цезарь, отцом божественным вскормленный, снова
Вок вернет золотой на Латинские пашни, где древле
Сам Сатурн был царем (лат.).

Перевод С. Ошерова. [11]

Однако, если сам император признавался в бесплодности всяких реформ, то, значит, зло было довольно велико и очевидно. Если сам защитник порядка говорил прямо, что не видит ничего, что было бы достойно защиты, значит, он понимал, что люди давно сами знают это и что разрушение общества для многих не секрет. Да и могло ли оно быть тайной, когда, при начавшемся банкротстве, погибли все немногие украшения, которые прикрывали несостоятельность и варварство общественных начал, погибли те внешние формы свободы и права, которые составляли благополучие, если далеко не всех, то по крайней мере аристократического меньшинства. Тогда-то пришлось испытать печальные результаты всего общественного строя и тем немногим, которым до сих пор этот строй был выгоден. Поэтому первый протест против разлагающегося общества вышел из среды аристократии. Протестантами явились те самые люди, которые, подобно Бруту [12], пускали деньги в рост на 50 процентов, подобно Катону [13], морили с голоду состарившихся рабов или, как Сенека [14], были первыми богачами своего времени и Нероновскими министрами.

С этой стороны упреки, делаемые большинству стоиков, совершенно справедливы, как справедливо, разумеется, и то, что такие протестанты не могли видеть истинных причин зла и обращать свое негодование против того, что действительно заслужило его. Так, Бенхам [15] мог основательно заметить, например, что со стороны Сенеки и Плиния было крайнею близорукостью и мелочностью вопиять, как против величайшего преступления, против употребления духов или льда летом. Но недалковидность и узость многих представителей

стоицизма не должна заслонить собою в наших глазах того, что в этом направлении было хорошего и законного. Оно было законно, как всякий протест против общества, подобного римскому времен упадка.

Несмотря на свой аристократизм и недостатки, стоики вообще были железные, сильные люди, которых не мог сломить деспотизм или коснуться растление общества. Они были достойные потомки Торквата [16], Муса и сенаторов гэльского нашествия [17] и битвы при Каннах [18]: такие же суровые, непреклонные аристократы и такие же твердые, непоколебимые граждане. Как те, среди величайших опасностей частых войн, были недоступны чувству страха, так неустрашимы были стоики в виду жестокого насилия деспотизма. Как те, после самых страшных поражений, вели себя, как победители, и отвергали всякую мысль о мире; как те хотели, побежденные, предписывать мирные условия и отвечали торжествующему врагу, что до тех пор не может быть и речи о переговорах, пока последний солдат его не очистит Италии, — так и враги империи не допускали возможности никаких компромиссов с этим порядком вещей, держали себя с большею гордостью, чем сам император, и не хотели слышать о примирении с ним, пока он не возвратит похищенной свободы.

Но все было напрасно, и протест их не мог остановить упадка общества, положить предела развитию деспотизма.

Да, все, что современникам Цезаря [19] казалось временным бедствием, случайным неблагоприятным стечением обстоятельств, должно было кончиться не прежде, как с последнею искрою жизни в древнем мире. Все более и более приходилось убеждаться в этом людям позднейшего времени. Надежда на прекращение зла постепенно исчезала, и наконец каждому, кто еще пытался плыть против течения, представилась ясно, как дважды два четыре, роковая дилемма: или заключить с действительностью полюбовное соглашение, или выйти вон из общества. Стоики всегда избирали второе решение. Они отказывались от соглашений без всякой задней мысли, хотя не могли не видеть, к чему их поведет такое решение вопроса.

Жить свободным в обществе, подавленном деспотизмом, жить среди доносчиков и развратников, жить разумно в мире, управляемом безумием или прихотью Калигул [20] и Неронов, — невозможно. Тогда человеку, нежелающему мириться с негодным порядком вещей, дорожающему своею личною чистотою, своим человеческим достоинством, уважающему себя и верующему в себя, остается одно из двух: если у него есть в будущем верования и надежды, если идеал его впереди, то он найдет в себе силы, не отказываясь от жизни и деятельности, направить их против того, что ему ненавистно, и победить или умереть в этой борьбе. Но если человек не предвидит в будущем ничего; если идеалы его все в прошлом, позади его; если, короче, он не желает, а жалеет, тогда ему остается только выход из общества, отречение от жизни.

Человек с заглушенною совестью, как Тиберий, поняв эту безнадежность общества, обратил бы его не только в орудие своего честолюбия, но и в средство оправдать себя перед нравственным судом. Он сказал бы, что общество пало так глубоко и низко, что поднять его невозможно; что всякого, кто попытается сделать это, ожидает гонение и отлучение этого

же самого общества; что, следовательно, всякий должен думать только о себе, и умный человек может делать с таким стадом все, что нужно ему для своих интересов, не обращая внимания не на его мнение, так как оно льстиво и продажно, ни на право и нравственность, так как их не существует.

Но стоики были люди слишком честные, чтобы обратить свое понимание общества в средство покутить на его счет и оправдать этот кутеж. Они не хотели торговать своим взглядом на современную им жизнь и выковыривать себе из него броненосную совесть и медный лоб, для совершения самых вопиющих злодеяний, для участия в самых цинических оргиях. Но не имея в то же время идеала впереди себя, не видя, откуда могло бы прийти спасение, отчаявшись в человечестве, они смело решались на удаление из жизни и часто доводили это решение до крайних его последствий — до самоубийства. Этим они доказали, что умеют делать логические выводы из принципов, а главное, не робеют перед этими выводами и принимают их чистосердечно, с полной готовностью последовать всему, что они укажут им.

Конечно, такие люди не отступали перед другими последствиями своего взгляда на жизнь. Плиний-младший [21], например, будучи адвокатом, ни разу не взял ни малейшего вознаграждения от тех, кто обращался к нему с делом, находя, что защита истины, права или невинности — не такая вещь, которую позволительно промышлять. Плиний-младший действовал таким образом в эпоху, когда все было продажно. Впрочем, он не был единственным стоиком, умевшим соглашать принципы с действиями. Если история более говорит нам о геройских самоубийствах людей этого направления, чем о великих подвигах самоотверженной деятельности их жизни, то это потому, что в их положении, с их безнадежным взглядом, не возможна была честная деятельность.

Как Тиберий, так и стоики находили, что исправлять и защищать нечего, только делали из этого другой вывод. «Если так, — рассуждали они, — то, стало быть, не может быть никакой деятельности; практическую жизнь с ее тревожениями и передрягами следует предоставить подлецам, которых она одних достойна и которые одни способны не брезгать ее помоями. Честный человек должен отказаться от всякого дела (а это ему было тем легче, что в распоряжении его был труд сотни или тысячи рабов) и уйти в самого себя, пока, наскучив своим одиночеством, не найдет самым простым и лучшим — вскрыть себе жилы».

Самые последовательные и честные стоики не те, о которых больше всего говорит история. Это не мудрые философы, не бескорыстные адвокаты, не благодетельные проконсулы, как Плинии. Это не Сенека, который, воспитывая Нерона, воображал, что может принести пользу миру, дав ему идеального повелителя. Это не Марк-Аврелий [22], который, при своем безнадежном мирозерцании, был убежден, что все в жизни *vanitas vanitatum* {1}. Нет, настоящие, искренние стоики стоят в истории на заднем плане: их строгие, величественные, грустные фигуры виднеются как бы в тумане, в глубине мировой сцены, занятой толпами алчущих, дерущихся, добивающихся жизни и ее благ, ищущих, озабоченных, суетливых. Это — люди, которых заставляла говорить только их смерть, которые после долгого молчания выступают вперед лишь затем, чтобы пронзить себе грудь, — люди смерти, а не жизни. Это — Тразея [23], Лабиен [24], а из всемирно-исторических имен разве один Эпиктет [25] — этот римский аскет — брамин, этот предшественник Антониев [26] и Пахомиев [27].

Это весьма понятно: честному стоику были заказаны все пути. Что ему было делать? Управлять обществом в качестве государственного человека, когда он признавал только свободное общество, а в современном свобода была немыслима! Двигать вперед науку? Зачем? Наука для науки? Да, для такой деятельности был только один честный результат — броситься в Везувий. А иначе зачем наука такому обществу? Учить умирающего, просвещать труп, развивать столетнего старика? Какая интересная деятельность! Или, быть может, принять участие в делах общества, в звании проконсула или другого чиновника, под ведением такого благонамеренного администратора, как Траян? Утешать себя мыслью, что хоть немного облегчишь кое-какое частное зло, хоть кому-нибудь сделаешь сносным существование, не допустишь двух, трех случаев грабежа? Но достойно ли это честного человека, который видит, что зло не в каких-нибудь злоупотреблениях, а в самом корне общества, что общество безапелляционно осуждено на гибель, что грабеж не случайность, а неизбежность?

А если так, то стоит ли решаться падать в эту грязь и жертвовать своими убеждениями, идти на компромисс из-за того только, чтобы зло коренное, необходимое и неизлечимое давало себя несколько времени слабее чувствовать! Не следует ли лучше желать, чтобы оно поскорее дошло до своего апогея, чтобы скорее все почувствовали и увидели воочию невозможность такого порядка вещей! Кто решился бы сделаться врачом, имея в перспективе не излечивать болезни, а лишь протягивать агонии, не избавлять людей ампутациями от страданий, а лишь продолжать на лишнюю неделю их гниение заживо? Как назвать такого врача?

Наконец, во времена римского упадка для людей с воззрениями стоиков невозможна была и та деятельность, которую особенно любят все отщепенцы и протестанты, — деятельность народных трибунов. Императоры могли не без успеха выдавать себя за защитников интересов народных масс. Та свобода, о которой вздыхали стоики, была свобода аристократическая, узкая, основанная на тирании, эксплуатации и рабстве. Представители кровавого права Двенадцати Таблиц — что могли они ответить на крик народа — *usuga*?!

Ответить на него было суждено людям другого права, других принципов, другого идеала.

Итак, вот почему протест стоиков был бессилен и мог заключаться лишь в отречении от деятельности с логическим заключением к самоубийству. Отрицая современный им порядок, они сами принадлежали по понятиям к ветхому миру, который умирал и которого этот современный порядок был законным детищем.

Вот почему отрицание их должно было останавливаться на полдороге. Они не враждовали с основаниями общественного быта, а только с теми явлениями его, которые возникли в последнее время. Они не отрицали ни рабства, ни завоевания, ни своего беспощадного права собственности, узаконенного точно драконом для Шейлока [28], не своего семейного быта с рабством женщины, с освященным самодурством отца. Они не отрицали мудрости своих юристов, ни политики своего сената, ни экономического антагонизма своих патрициев и плебеев, ни лихоимства своих всадников [29]. Все это казалось им непогрешимым, вечным, необходимым, без чего общество, государство были немыслимы, что стояло вне всякого сомнения и отрицания. Но все это как было основанием республиканского общества, так и

осталось основанием общества имперского. Следовательно, чтобы отрицать порядок императорского Рима, необходимо было начать его с существенных оснований общества, а до этих-то оснований они и не подумали коснуться. Значит, истинными отщепенцами они не были и быть не могли.

Тем не менее на них с уважением и любовью обращались взоры позднейших, других отщепенцев иных обществ. И они, без сомнения, вполне заслуживают такой симпатии, потому что, если не могли придать своему отрицанию более глубокого смысла, не могли выразить его деятельностью, зато никто лучше, сильнее и честнее их не заявлял своего разрыва с обществом. Печален ряд этих мучеников без венца, без рая впереди, этих героев, осужденных на бездействие, этих скованных титанов...

Много еще жертв пожрал после них сфинкс, свирепствующий на пути прогресса человечества. Много жертв погибло в бою, на кострах и эшафотах, с голоду и в пытках, в застенках и на улице, — но едва ли не всех трагичнее была участь этих именитых и сановных, важных и аристократических самоубийц. Все, кроме их, умерли с верою, пали в борьбе. Одни они должны были сами произнести себе смертный приговор за неумение ужиться с обществом и за неспособность сильнее отрицать его.

Вот как изображает один современный отщепенец [30] личность одного из этих людей.

Тит Лабиен

Слышали вы о Лабиене? То-то был странный человек! Представьте себе, что он непременно хотел остаться гражданином страны, где были только подданные! Возможно ли это? Есть ли тут смысл? «Civis Romanus sum»{2}, — говорил он и знать ничего не хотел. Он думал, как Цицерон [31], умереть свободным в стране свободы. Какое безумие! Быть гражданином и свободным! Разве это не сумасшествие? Без сомнения, голова его была не в порядке; мозг его был опасно поражен; по крайней мере так уверял врач Августа, знаменитый Арторий, который называл такой род безумия резонерством и советовал лечиться больному тюремным заключением. Лабиен не последовал докторскому совету и потому, как увидим, не выздоровел.

Тит Лабиен [32] носил имя, уже дважды прославленное честными гражданами. Первый Лабиен, полководец Цезаря, покинул его при переходе через Рубикон, чтобы не быть сообщником в его преступлении; второй [33] — предпочел служить скорее парфянам [34], чем триумвирам. Наш герой был третий в роде. Одна строка Сенеки-ритора вполне обрисовывает нам великую личность Лабиена, который сказал: «Я убежден, что правда, высказанная мною, поймется только после моей смерти». Первоклассный оратор и историк, Лабиен достиг славы, победив тысячу препятствий. О нем справедливо говорили, что он не вызвал, а так сказать — вырвал из груди своих современников крик невольного к себе удивления. Лабиен писал историческое сочинение, из которого по временам прочитывал несколько страниц верным своим друзьям... и то притворив двери.

По поводу этого сочинения в первый раз выдумали жечь книги, следуя совету одного сенатора, которого впрочем самого постигло вскоре придуманное им наказание. Таким образом, Лабием первый в Риме заслужил честь вызвать против себя преследование власти за свободу убеждения. Это дикое преследование уже не новость в настоящее время либеральной подлости. Бедный погорелый историк не мог пережить своего сочинения: он скрылся навеки в могильном склепе своих предков. Лабием думал, умирая, что творение его погребло, — но ошибся. Друг его, изгнанник Кассий, знал наизусть все, что он написал, и был, по собственному выражению, «вторым изданием сочинения Лабиена».

Смерть Лабиена была так же безумна, как и жизнь: он кончил самоубийством, как настоящий стоик. Стоило умирать из-за того, что сожгли книгу! Сенат не желал смерти виновного; он только хотел дать ему, как говорится, предостережение, которым следовало воспользоваться. Но этот отщепенец римской империи был так непрактичен, что решился лучше умереть добровольно, чем жить без воли, пресмыкаясь в рабстве и позорной трусости. Вот почему он спокойно и сознательно стал в ряды тех славных стоиков-самоубийц, тех последовательных и непреклонных противников империи, тех непрактических мудрецов, которые даже своею смертью хотели выразить протест и, вскрывая Себе жилы, воображали, что делают неприятность императору. Некоторые убивали себя только для того, чтобы побесить государя, который смеялся над ними со своими наушниками и окончательно убеждался в достоинствах своей политики, видя, что дело делается само собою.

Таков был Лабием, неисправимый, упрямый чудак! Дальше вы увидите, что он чудил постоянно и в суждениях своих никогда не мешал правды с кривдой и не терпел лицемерия. Разве это не смешно? Кто не согласится, что это был человек отсталый, потому что свобода была в то время старой штукой; он был реакционер, потому что желал возврата к убитой республике; он был приверженец старого порядка, потому что любил старую свободу и ненавидел новое рабство; короче, он был неисправимый отщепенец.

Да, Лабием был из тех опасных людей, которых сильная власть должна приводить в трепет для успокоения добрых граждан, то есть для усыпления нечистой совести и развития общественных зол. Мало того, Лабием был неблагодарен: в виду гордого владычества цезаризма, в виду славы, пожирившей общее благосостояние, в виду, наконец, разгула грязных страстей оступевших подданных, он отрицал благодеяния, которые щедром рукою сыпал на людей второй основатель Рима, спасенного от республиканской свободы. Он бесновался, глядя на падших римлян, и таил непримиримую ненависть к насилию. Злоба его была безгранична; власть Августа душила его; он не мог ни говорить, ни писать, ни действовать, ни двигаться, и потому по целым часам, на Сублиниевом мосту, неподвижный и молчаливый, с яростным взором и угрожающим видом, точно статуя Марса-Мстителя, точно окаменевший трибун, стоял он на берегу Тибра, стоял под грозой и бурей.

«Пока длятся нищета и позор, — говорит Микельанджело [35], — всего лучше забыться сном или обратиться в камень». Лабием не дремал, но был камнем неподвижным, твердым, как капитолийская скала (*immodile saxum*) [3]. Он не поддавался тирании и был неприступен для империи. Это был римлянин старого закала, которого ничто не могло своротить на путь бесчестья. Одинокий стоял он, как Коклес [36], между армией и пропастью, презирая обе.

Он не боялся Августа и улыбался смерти. Пожалуй, в этом была доля хорошего, но говоря вообще, какой ужасный характер, какая железная воля! Ему не нравились даже великолепные медали Октавия, на которых были изображены три соединенные руки триумвиров и громкий девиз: «Спасение человечества!» Лабием уверял, что подобное спасение хуже убийства и повторял слова Горация [37];

«Когда тиран спасти вас обещает, гоните вон его; он ваш убийца!»

Старый Лабием был из числа тех, которые видели республику. Это, конечно, была не его вина; но он имел глупость помнить это: вот в чем беда. Он видел славное правление и был недоволен им. Есть же люди, которые всем недовольны! Сорок лет славы вместо того, чтобы открыть ему глаза, совсем ослепили его; он походил на человека, который видит скверный сон, и действительность практической жизни казалась ему адским видением. Чудак! — Он постоянно удивлялся и никогда не верил совершившимся фактам. Эпимонид [38], проспавший целое столетие, менее дивился, пробудившись, чем этот сумасброд. Среди всемирной радости он был печален; среди римской оргии он был мрачен и сердит. Живя в римском обществе, Лабием был совершенно чужд ему и походил на грозное привидение, которое явилось будто с целью нарочно поразить ужасом живых и напомнить им о смерти. Его можно было принять за мертвеца, восставшего с поля битвы при Филиппах [39], за любопытную тень, пришедшую взглянуть, что делается. Когда приятели выражали ему свое сожаление, он отвечал им, что жалеет их самих.

Лабием всегда ворчал про себя, глядя на империю, как на царство гадов. Его ни в чем нельзя было разубедить, ничему нельзя было научить, и все, что он знал, того не забывал. Современный порядок вещей понимал он по-своему, потому что в нем коренились все старые брутовские понятия. Он был пропитан до мозга костей греческим мирозерцанием, которое в Риме давно уже было неуместно. Он казался ветхим, как XII Таблиц, и держался обычаев Фабриция [40] и Камилла [41].

Какие невероятные фантазии, какие идеи приходили ему на ум! И в довершение всего, какая дикая, необъяснимая страсть! Вообразите себе: он любил свободу! Дело ясно: Тит Лабием был не в своем уме. Любить свободу, понимаете ли — свободу!! — Ведь это отсталость, ретроградство, как думают либералы. Эти люди всегда любили либеральничать на словах, а на деле постоянно отвергали свободу, как опасную утопию, еще во времена Лабиема. Этот республиканец не был, конечно, либералом, в современном смысле, и не понимал, как можно, рассуждая о свободе, оставаться рабом и трусом.

Время шло своим чередом, а с ним и новые идеи: один Лабием был неподвижен. Он верил еще в справедливость и в совесть. Вот сумасшедший мечтатель! Вот непрактичный гражданин! Он рассуждал о человеческом достоинстве, о гражданской свободе; он толковал о трибунах, комициях, не видя, что все это унте давно растаяло, как снег, и стекло, в громадную клоаку, на краю которой он стоял почти одинок. Лабием продолжал вести летосчисление по консулам, так как Август не уничтожил их, не желая уничтожить республиканской формы и воображая, что может обмануть словами. Лабием сочинял по-прежнему речи к народу, как будто был еще народ; он говорил о законе, как будто в самом деле были законы. Империя казалась ему явлением временным, нелепой и позорной

страницей в летописях Рима. Ему хотелось поскорее перевернуть эту страницу или изорвать ее. Он думал даже, что это скоро кончится, и ласкал себя этой надеждой! Все считали его за сумасшедшего, и, как видите, он действительно был не в чужом уме.

Впрочем, Лабиен был добряк; — скорей упрямый, чем злой; — неспособный зарезать цыпленка, а тем более пожелать зла кому бы то ни было, разве, может быть, одному только Августу, да и то сомнительно. Добродушие его доходило до того, что он за наказание желал сослать Августа только на галеры вращать веслом, между тем как все прочие единомышленники его хотели повесить. Притом, следуя стоикам, Лабиен полагал, что наказание отчасти полезно виновному: потому, можно сказать, он и Августу желал того благополучия, какое только можно было пожелать, — то есть искупления.

Однажды, гуляя вечером под портиком Агриппы [42], Лабиен встречает Галлиона [43]. Лабиен был старый чудак, а юный Галлион — практический мудрец, молодой человек серьезный и кроткий, образованный и изящный, вежливый, осторожный, внимательный, пожалуй даже — умеренный стоик. Полуподданный, полугражданин, Галлион был одновременно человеком старого и нового поколения; по крови метис, по убеждениям тоже; он служил нашим и вашим. По временам, как Гораций, он обращал растроганный взор на гробницу свободы, а потом также приветливо взирал на колыбель империи; он оплакивал Катона и улыбался при имени Цезаря. Вообще Галлион был юноша добродушный и любил немножко всех и каждого, даже Лабиена. Он приходился братом Сенеке, которому наскучило жить, и дядей Лукану, который не умел умереть. В это время только изредка попадались еще порядочные люди, а герои совсем вывелись. Народ падал и разваливался в прах, прежде статуй своих богов и храмов. Кое-где можно было еще встретить несколько римлян сомнительного достоинства, и к числу их принадлежал Галлион. Этот лицемер писал стихи для любимцев Мецената [44], и критики называли его «остроумным Галлионом». Да и как же было не считать его умником, когда он носил звание проконсула! По имени его называли «галлионистами» всех индифферентистов в религии, то есть тех, которые не поклонились истуканам, а молились своим богам — императору и его фаворитам. Именем Галлиона следовало окрестить и тех, которые были равнодушны к политическим вопросам.

Лабиен, ругая молодежь своего времени, вероятно, прошел бы мимо Галлиона, не поклонившись ему; притом Лабиен был вообще не очень вежлив. — Он был не любезнее тех знаменитых сенаторов, которые некогда так холодно встретили галлов, гордо сидя среди форума. Да и Галлион, может быть, в другое время не решился бы остановить Лабиена; но в ту минуту он был так счастлив, так взволнован; ему так хотелось кому-нибудь высказать то, что он слышал; ему так хотелось наконец посмотреть, какое впечатление произведет на Лабиена его известие, что он остановил его.

— Здравствуй, Тит! *quid agis, dulcissime, regum?*{4} как твое здоровье?

— Плохо, если здорова Империя.

— Ладно! Все давно знают, что ты не весел; но я хочу сообщить тебе новость.

— Для меня не может быть ничего нового, пока живет Август.

— Знаю, знаю, что ты сердисься вот уже 30 лет и ни разу не улыбался со времен триумvirата. Знаешь ли, однако, что на днях вышли «Записки» Августа?

— С каких же это пор разбойники стали писать книги?

— С тех пор, как честные люди выбирают императоров.
— Жаль!
— Итак, любезный Тит, ты не будешь читать «Записок»?
— Прочитаю, Галлион, прочитаю со слезами стыда.
— И ты, конечно, станешь отвечать, разбирать, критиковать, короче — напишешь Анти-Цезаря, как Цезарь написал Анти-Катона?
— Нет, Галлион, я ничего не хочу писать об этом, потому что нельзя же спорить с человеком, у которого 30 легионов! В стране, где нет свободы, не следует касаться современной истории, потому что критика ее невозможна.
— Так ты не хочешь просвещать общество?
— Нет, я не желаю только участвовать в надувательстве его, потому что в настоящее время все, что пишется для публики, не может быть хорошо и ничего дельного появиться не может. Я стану продолжать свою историю и пошлю рукопись в верные руки Севера. Я спасу правду, послав ее в ссылку.
— Но все говорят, что критике будет дана свобода; тирания даст литературе восьмидневный отпуск.

— Дадут они свободу, знаю я, — свободу обманчивую, свободу карнавальную, декабрьскую свободу, *libertas decembris*, — как говорит Гораций. — Не надо мне такой свободы! Я не хочу писать против этой книги и вызывать месть Октавия или милосердие Августа. Я не хочу, подобно Цинне [45], дать шуту случай разыграть роль великодушного государя и взыскать, то есть опозорить меня своей милостью. Если книга хороша, то хвалить ее все-таки нельзя, потому что рискуешь смешаться с теми, которые будут хвалить ее по другим причинам. И так мне нельзя ни хулить, ни хвалить ее. Да притом книга не хороша и не может быть хорошей. Когда человек так глуп и подл, что делается деспотом и велит себе поклоняться, как богу, такой человек не может писать истории. Всем известно, что у него нет ни здравого смысла, ни совести. Он не может ни знать правды, ни высказать ее, если бы даже и знал. Зачем же берется он не за свое дело? Зачем писал этот венценосец? Император, желающий сделаться историком, должен начать с отречения. Август не сделал этого: дурная примета! Впрочем, я знаю уже, что в своем сочинении он оправдывает проскрипции [46] и защищает узурпацию [47]! И ты хочешь, Галлион, чтобы я писал разбор этого глупого и гнусного произведения, вышедшего с одобрения двух тысяч цензоров и рекомендованного публике преторианцами? Критика!! Тебе следовало сказать: осада. Неужели ты не видишь, мой миленький Галлион, что это один из самых забавных фокусов нашего коронованного гаера!

Да, Галлион, мы вырождаемся римлян. С Цезаря мы попали на Августа, из Харибды в Сциллу [48], от насилия стали искать спасения в коварстве, от дяди попались в руки племянника. Фу, какая гадость! Нет, сам я не попаду в эту литературную западню и не заманю в нее других. Нет, я не буду критиковать «Записок» Августа; — царей учит молчание народов, и я, Лабиев, дам такой урок Августу.

Впрочем, будь покоен: если тебе так хочется читать разборы этого императорского произведения, то не унывай. Дождем польются ученые рассуждения, остроумные и забавные критики, вежливые заметки. Ты начитаешься вдоволь раболепной лести, холопских возражений, эпиграмм, острот, которые не колят, а только приятно раздражают. Насладишься вдоволь резкими, но приятными упреками, сладчайшими любезностями,

благоухающими букетами риторики, подлой лести, облеченной в жесткие и суровые фразы. Тебя засыпят цветами красноречия и зальют потоками медоточивых хвалебных гимнов. Перед тобой на бархатных подушках понесут ученые возражения и на серебряных подносах будут подаваться критические заметки; всего будет довольно, милый Галлион. — Запляшет от радости хор государственных муз; сам Меценат откроет эту пляску. Для Августа не будет недостатка в читателях, ценителях, судьях, критиках, истолкователях; на все это найдутся люди! Кто создал Вергилия, тот может создать и Аристархов [49]; они ему нужны и не замедлят явиться: будь покоен!

Уже вся литература пришла в волнение: Варий [50] плачет от радости; Флавий нежно улыбается; Гатерий готовится к публичному чтению, а Тарпа к декламации; Помпей Мацер уверяет уже, что настала пора величия и славы, и посылает три роскошные экземпляра сочинения Августа в публичные библиотеки, которые недавно основал; Фенестела прибавил новый том к своей истории литературы; Метелл, заготавливающий для государя такие прекрасные речи, выставит на вид все ораторские красоты его книги, а грамматик Верин — красоты грамматические; в придворном журнале историк Марат напишет ученый разбор, а любимец Октавия, Атеподор, заготовит особые выписки для придворных дам и принцесс. Вот уже целый десяток! Я легко мог бы насчитать и тысячу. Все эти люди пройдутся пред императором церемониальным маршем и будут приветствовать его во все горло, как солдаты на параде. А он будет скромн и величествен: уста его будут говорить: «довольно», а улыбка: «еще», и толпа будет надрываться изо всех сил. Чернь семи холмов рукоплескала же подвигам тирана: почему же чернь литературной не похвалить его сочинения?!

Рукоплескания будут: но беда в том, что они раздадутся с одной стороны; в этом-то и обнаружится весь комизм его исключительного положения, как писателя. Несчастнй! может быть, он не предвидел этого; но что же делать, если успех его сочинения будет заказной! Это горько, неприятно, но помочь горю нельзя. Власть имеет для писателя свои неудобства: путь венценосного автора усеян не одними розами. Иначе и быть не может; и сам Вергиний не избежал бы этой беды. Приходится испытать участь, которую сам искал; приходится глотать позор, которого сам жаждал. Итак, подожди, любезнй Галлион: праздник скоро начнется; он будет шумен; посетителей будет много. Музыканты уже на местах; они настраивают свои инструменты и готовятся начать концерт. Смотри же и слушай, если тебе хочется. Я уверен, что зрелище позабавит тех, кто может еще смеяться.

Я знаю, что в сочинении говорится о последней гражданской войне и даже о последних минутах жизни Юлия Цезаря. Скажи по совести, любезнй Галлион, неужели ты поверишь словам Августа?

Ведь он пишет сочинение о революции, которую сам затеял! Что сказать о преступнике, который оправдывает свое преступление? По-моему, это новое преступление удастся не так легко, потому что удобнее сделать пакость, чем оправдать ее. При всем том, новая затея Августа преступнее первой, потому что пагубнее по своим последствиям. Прежде Август посягал на жизнь людей; теперь же он грозит не только их жизни, но посягает уже прямо на совесть всех граждан. Прежде он губил только современное ему поколение; теперь хочет погубить и будущее. Это уже государственный переворот в нравственности, извращение человеческой совести, укоренение лжи, пощечина правде, славословие позора и подлости,

короче — это венец всех преступлений и торжество безнаказанной подлости. Сочинение Августа — собственная его похвала своим подвигам, которые он выставляет для подражания. Вот почему это сочинение обращается в устав злодейства и настоящее руководство для подлецов.

И такую книгу ты предлагаешь разбирать при деспотизме! Ты желаешь вызвать против Августа литературную оппозицию! Какой вздор! Критика против Октавия? Не смешно ли это! Разве сам Октавий Август критиковал Цицерона? — Нет, он просто убил его. Как! злодей вас душит и, проповедуя убийство, прежде чем покончить вас, — спрашивает вашего мнения насчет своего поступка! Он желает, чтобы вы сообщили ему откровенно свои убеждения политические и выразили ему свой взгляд на произведение его пера! Какой добряк, подумаешь! Ему ужасно хочется залезть к вам в душу, сделать в ней повальный обыск, а потом, когда добьется вашего признания, он пошлет вас беседовать с палачом! Где нее у тебя голова, милый Галлион? Подумай, чего ты от меня добиваешься!

Что сказал бы ты, если бы вор Беррес [51] написал сочинение о собственности? Неужели стал бы ты рассуждать с ним? А что такое «Записки» Октавия? Разве это не теория узурпации, написанная узурпаторами? Разве это не школа заговора, открытая заговорщиком, который избежал заслуженной казни?

Рассуди же, наконец, что автор может говорить только о том, что ему известно. Он знает, как грабить города, как резать сенаторов, как обирать храмы Юпитера. Он знает, как обманывать народ, как подкупать избирателей или обходиться без них. Он знает, как отделяться от соперников и опасных друзей, как казнить и ссылать врагов. Короче, ему знакомы игры деспотов в обман, насилие и вероломство. Он знает, как по методу первого Цезаря можно занимать у одних и давать займы другим и таким путем приобретать друзей направо и налево. Он знает, как обходить все препятствия, как переходить Рубиконы и потом, становясь выше всех законов, делаться владыкой и полубогом. Все это знает Август! Но он не смыслит ничего ни в истории, ни в политике, потому что не признает нравственности, кроме той, наследственной, которую выдумали для себя деспоты-злодеи с целью убить в себе совесть.

Итак знай, что в книге Августа напрасно искать чего-нибудь дельного, полезного и честного. В ней нет и быть не может даже намек на здравый смысл и совесть; зато, конечно, вдоволь всего, что отравляет ум и сердце. Какую же критику способна вызвать такая возмутительная пакость, как книга Августа? Неужели разбирать его литературные достоинства, филологические, археологические познания и спорить с ним о каких-нибудь мелочных подробностях? Дурак, кто делает ему такую честь!

Да, что бы ни делали и ни говорили люди, подобные Августу, они все-таки чувствуют себя извергами общества. Насилием и преступлением отделились они от честных людей и хотят тайком пробраться в их среду. В заключение всех низостей, их разжигает одно желание сравняться с людьми, сохранившими честное имя. Для достижения этой цели они скрывают свою волчью натуру в овечьей шкуре и притворяются добродушными, мягкосердыми. Они даже готовы плакать, чтобы заявить свое мягкосердие, и, подражая крокодилам, плачут иногда, как дети. И все это делается с умыслом возбудить в людях если не любовь и

уважение, о котором не имеет понятия, то, по крайней мере, сострадание к своей жалкой и позорной роли. Август добивается прощения! Этот кровопийца жаждет теперь уже не крови, которую сосал до сих пор: нет, похититель власти желает теперь похитить доброе имя и присвоить себе то, что имеют другие. Но он добивается невозможного! Это отчаянное усилие Августа подняться в глазах честных людей, эта последняя борьба Цезаря с общественным мнением, которое его подавляет, — и смешны и отвратительны, как последняя гримаса висельника, как улыбка гладиатора, желающего умереть с грацией.

Книга Цезаря — туалет приговоренного к смерти. Цезарь так гадок, что от него отвернется сам палач. Вот почему он хочет умыться перед публикой и обращается к ней с надеждой, что она бросит на него взгляд сожаления. В предисловии своего сочинения Август осмеливается взывать к читателю! Нет, пусть лучше прямо обращается к палачу; с ним ему надо иметь дело, а не с читателем.

II. Христиане

Рядом со стоиками и непосредственно после них возник против римского мира другой протест, бесконечно более высокий и сильный. Явились другие отщепенцы, которым было суждено победить.

Общество сейчас же увидело, что перед ним на этот раз более опасные враги. Стоиков оно не столько чуждалось, сколько они сами чуждались его. Их считали безумными, сумасбродными, даже опасными; но в то же время уважали их, признавали в них свою философию, свою мудрость. Их жалели, а не преследовали. Сами они гораздо больше подписали себе смертных приговоров, чем императоры. Им удивлялись и не клеветали на них; зато и не увлекались ими. Даже когда центурион являлся к ним с приглашением не возмущать своею грустью веселое настроение граждан, благоденствующих под властью своего «господина и бога» — *Dominus ac Deus* — то и тогда в них видели не врагов общества, а только врагов императора и империи. И в самом преследовании было заметно уважение, которое воздавалось им, как почтенным, хотя и вредным членам общества.

Совершенно иначе старый мир взглянул на христиан.

«Когда апостолы распространяли божественное учение, — говорит Иоанн Златоуст [52], — когда они обходили всю землю, всюду сея слова воров, искореняя заблуждения, отменяя древние законы государств, преследуя неправду, очищая под ногами своими почву и повелевая людям бежать от идолов, храмов, алтарей, празднеств и мистерий их, с целью возвыситься до понимания Единого Бога, Властителя вселенной, и до чаяния будущих благ; — когда они говорили об Отце, Сыне и Святом Духе, рассуждали о Воскресении и проповедовали о царствии небесном; — тогда возгорелась великая, зверская война, и мир исполнился смут, грома и раздоров, охвативших все города, все народы, все семьи, все страны, и цивилизованные, и варварские. Понятно, что древние учреждения подорвались в основах своих, и покачнулся так долго царивший предрассудок при вторжении новых, неслыханных дотоле верований. Против их могущества негодовали императоры, враждовали проконсулы, роптали граждане, кричал форум, обращалась страстная ненависть судов, обнажались мечи, готовилось оружие и свирепствовал закон. Всюду возникали казни, пытки, угрозы; всюду господствовал ужас. Волны разъяренного моря, извергающие из пучин своих обломки кораблей, могут представить картину того порядка вещей, где, во имя веры, сын отрекался от отца, невестка от свекрови, ссорились братья, господа гнали слуг, вся природа вступала в раздор сама с собою и всюду разгоралась война, уже война не только гражданская, но и семейная. Слово, как меч, проникало всюду, вызывая на великий бой, на великую расиру, и всюду порождая ненависть и гонения против верующих (Chrysost. De gloria in tribulat){5}.

Против христиан поднялись все. — Общественное мнение называло их атеистами, развратниками, «врагами ботов, императора, государства, человечества, преступниками, виновными во всевозможных преступлениях» (Tertullianus) [6]. — О них рассказывали, что будто они поклонялись ослиной голове, что они убивали и ели детей, что они предавались величайшему разврату. Им приписывали все бедствия, поражавшие империю. Нерон жег их за пожар Рима; а народ, подражая своему тирану, кричал при всякой беде: «в цирк христиан, на растерзание львам!» По словам Августина [53], не было того несчастья, за которое не обвинили бы христиан. *Pluvia deficit, causa Christiani*, нет дождя, значит, виноваты христиане, говорил глас народа.

Язычник, обращавшийся в христианство, становился этим вне всех законов общества: он считался с этих пор чудовищем, извергом, достойным всех мук. Власти, которые так часто противятся общественному мнению, когда требования его разумны и справедливы, на этот раз были очень угодливы. Конечно, в политическом отношении проповедь евангелия была неопасна могуществу цезарей, и многие администраторы, судя с этой точки зрения, не видели необходимости преследовать людей, так мало занимавшихся политическими вопросами. Случалось, как например при казни Св. Поликарпа [54], что проконсулы уступали только страстным требованиям толпы. Давно уже замечено, что гонителями христианства были не те свирепые тираны, которые и думать не хотели о каких-нибудь принципах и об интересах общества, а те мудрые и прославленные правители, которые считали себя призванными спасать общество и заботиться о религии и нравственности.

Сами стоики показали себя достойными членами старого общества. Благонамеренный и просвещенный проконсул Плиний облагодетельствовал, между прочим, свою провинцию и тем, что посылал на казни христиан. — Мудрый венценосный философ Марк-Аврелий, несмотря на свои гуманные правила и разочарованность, вменял себе, в числе других обязанностей, преследование назареев [55].

Чисто политические причины совершенно не оправдывали этих преследований, потому что христиане были люди мирные, не замыслили никаких заговоров, не имели ничего общего со стоиками и вообще политическими врагами империи в порицании современного порядка вещей. Поэтому чиновники императора относились к ним гораздо снисходительнее общества.

Общественное мнение ненавидело и преследовало их хуже разбойников и всяких злодеев, и с своей точки зрения, с точки зрения язычества, основанного на насилии и эксплуатации, было вполне право. Действительно: что значили противники политических учреждений в сравнении с этими отщепенцами всего строя ветхого мира, со всеми его понятиями, основаниями, принципами и формами! Что значили стоики, отрицавшие некоторые явления в жизни общества, в сравнении с христианами, отрицавшими его вполне!

«Солнце светит одинаково для всех, — проповедовали они. — Всех одинаково освещают луна и звезды; для всех равно идет дождь и веют ветры. Будем же подражать Творцу: поделимся с братьями нашими благами, дабы все человечество одинаково наслаждалось благодеяниями Бога». — «У Христиан ничего не должно быть собственностью; мы все происходим от одного Отца, и все должны иметь равную возможность пользоваться

божественными дарами. Будем милостивы для всех; будем считать все общим; милосердие да будет связующей нитью этого общего исповедания». — «Мы не родимся собственниками: наги выходим мы из чрева матери, наги возвращаемся в землю. Мое и твое — пустые слова. Солнце, земля, все, созданное Богом, есть общее достояние. Мы собственники только по наружности, а в сущности все, принадлежащее одному, принадлежит всем. То, что называют собственностью, есть лишь исключительное право владения, предназначенного Творцом для всех». «Мое и твое — слова жесткие, источник бесчисленных войн». — «Каков должен быть естественный порядок, порядок, учрежденный Богом? Он должен состоять в том, чтобы земля была в общем владении, чтобы все имели равные права на ее произведения. Природа требует общинности; человеческий грабеж создал личную собственность». — «Вся земля принадлежит Господу. Он равно дал его и бедным, и богатым, или, лучше сказать, для него нет ни бедных, ни богатых: все люди равно созданы из земли». — «Богатые — хранители богатства, которые поручены им; они не могут распоряжаться ими, а только пользоваться. — Провидение вручило их некоторым, дабы, умно распределяя их, они восстанавливали равенство между людьми». — «Горе тому богачу, кто забывает это: он похититель благ, принадлежащих Богу и всем; он — жестокий тиран, свирепое чудовище, ненасытный грабитель. Между ним и вором нет никакой разницы». — «Я часто смеялся, писал Златоуст, — читая в завещаниях: собственность мою оставляю такому-то, а пользование доходами — такому!! Мы можем только пользоваться, но сама собственность не принадлежит никому». — «Исключительная собственность, — подтверждает Астерий, — есть пагубнейшее заблуждение». — «Собственник имеет право лишь на то, что ему крайне необходимо для жизни; весь излишек принадлежит бедным. От него требуют не милостыни, а исполнения обязанности; отдавая излишек бедным, он только возвращает настоящим собственникам их достояние».

«Честный отец не должен оставлять детям больше того, сколько им крайне необходимо». — «Какая разница между вором, который тайно похищает чужое, убийцею, овладевающим имуществом своей жертвы, и богачом, который, беря процент, присваивает себе то, что ему не принадлежит?» — «Несправедливо брать больше, чем даешь. Тот, кто делает это, уподобляется врагу, строящему козни своему противнику; он злоупотребляет нуждою ближнего, чтобы окончательно ограбить его».

Такая проповедь шла вразрез со всеми понятиями ветхого мира Двенадцати Таблиц. Она отрицала его сверху до низу, отвергала все его основания и потому казалась язычникам слишком вздорною, смешною, безумною, короче — непрактичною. — Христиане возражали им с невозмутимым спокойствием, что вопрос в том: справедливо ли то, что они говорят, или нет? можно ли это считать божественною заповедью или нельзя? — «Иисус Христос прикалывает нам поступать так, — говорили они, — наше дело повиноваться. Не спрашивайте нас: возможно ли? — Тот, кто заповедал нам это, сумеет подчинить своему закону самую невозможность».

«Как! — спрашивали язычники, а теперь за ними спрашивают уже современные либералы, желающие отличиться легкомысленным отношением к христианской религии: как! — по-вашему, опыт, условия жизни, ее практика, ее факты — ничего не значат? Вы больше верите сумасбродным теориям? Вы хотите подчинить действительность вымыслам вашей фантазии? Безумцы, вредные мечтатели! Нет, знайте, что мы слишком благоразумны и

практичны, чтобы презирать действительность. Нами руководят не утопии, а здравый взгляд на вещи, наука, политическая экономия, как выражаются новомодные люди... Если вас послушать, то что же будет? Невозможна станет жизнь в обществе, погибнут все учреждения, государство, права, законы, полиция и богатство, — словом, вся ваша тысячелетняя цивилизация — от мудрости греческих философов и величии наших древних богов до нашего государственного порядка, до пышности нашего искусства, до славы наших завоеваний, до чудес нашей торговли и промышленности. Вы разрушаете трон, алтари, науку, законодательство и богатство, и зачем!! Чтобы на место всего этого поставить общую бедность! Вы все разрушаете и кроме утопий ничего не даете».

«Мы не говорим уже о том, что вы отрицаете наших богов: мы и сами им плохо верим, и наши поэты позволяют себе премилые и преигривые шуточки на их счет. Это пикантно, остро и безвредно, потому что подрывает только веру, а не суеверие. Но вы своими нападками уничтожаете предрассудок, а это уже посягательство на весь наш общественный порядок, потому что суеверие — одна из основ его. Но это далеко еще не самое безумное, не самое дерзкое из ваших покушений!»

«Кредит — нерв торговли и промышленности, творец общественного богатства. Но в нашем обществе, где всякий за себя, всякий для себя, а Юпитер за всех, кредит невозможен, немислим без лихвы, без процента. А вы осуждаете лихву, как величайшее преступление, уподобляя человека, берущего процент, — вору, разбойнику! Этим вы противоречите всему нашему законодательству, мало того — уничтожаете возможность всякой торговой и промышленной деятельности, т. е. обрекаете нас на нищету, варварство. О, да вы притом последовательны и не скрываете безумных последствий ваших нелепых учений!»

Не алчность ли душа торговли? И не она ли вместе с тем корень вопиющих зол? Лихва несовместна с христианскими чувствами, значит, несовместна с ними и торговля. Христос порицает торгашей; он ставит купцов рядом с идолопоклонниками.

«Без судов, — говорили язычники, — жизнь невозможна: это было бы дикое состояние, где люди перерезали бы друг друга в самый короткий срок до последнего человека. Наше законодательство имеет целью обуздывать человеческие страсти, предупреждать и карать преступления. Что же? как относятся христиане к нашим законам? Как смотрят они на обязанности судей? Они отказываются от должностей, говоря, что, приняв их, „были бы принуждены судить о жизни и чести, постановлять приговоры, осуждать на казнь, позор и пытки“. И все это они считают величайшими преступлениями! Их священники смотрят, как на отъявленных преступников, на всех судей, произнесших смертный приговор! Мало того: они явным образом нарушают общественный порядок и останавливают руку правосудия, открытою силой вырывая у палачей осужденных!»

«Могут ли быть терпимы такие понятия, такие люди?! Не довольствуясь презрением к нашим жрецам, к нашим ростовщикам, они обращают свою злобу и против первых граждан нашего общества — против судей и палачей! Что случилось бы с миром, если бы эти бредни были осуществимы! После упадка религии и, вследствие этого, окончательного развращения нравов, после общего обеднения оставалось бы уже уйти окончательно в варварство и дать простор резне всех со всеми! Без лихоимца общество, конечно, обнищало

бы; без палача люди вырезали бы друг друга. Нищета и смерть — вот идеал, который эти вредные мечтатели противопоставляют миру, счастью, богатству и славе империи!»

«Слава империи! Да, они очень о ней заботятся! Для своих утопий они готовы пожертвовать десятком наших провинций, чего! — готовы открыть варварам дорогу в Рим! Если их послушать, то война — бедствие, убийство, злодейство, и никто не должен браться за меч для защиты отечества. Для них убийство всегда убийство!» «Как может христианин идти на войну?» — рассуждают они: «Как может он еще в мирное время носить оружие, когда Господь обезоружил нас?» Они сравнивают воинов с обыкновенными убийцами и отлучают служащих в войске от своей церкви! Они бесцеремонны! В то время, когда наши орлы летают победоносно по всем странам света; когда непобедимые императоры распространяют славу римского оружия и раздвигают пределы империи; когда легионы железною стеною ограждают от вторжений варваров наши владения, — они бесцеремонно объявляют, что «война — разбой в обширных размерах!»

Было бы величайшим бедствием, если бы все эти нелепости проникли в ряды наших войск. Всякая дисциплина была бы уничтожена, и славные римские легионы обратились бы в шайки бродяг и разбойников. Вот чего можно ожидать от проповеди евангелия, и вот какие поступки расхваливают учителя и писатели христиан!

«На днях, — пишет один из них, — светлейшие императоры раздавали награды. Солдаты в лагере, увенчанные лаврами, поочередно подходили получать подарок. Между ними был один, воин Христа, с душою твердою и спокойною, убежденный, что нельзя служить зараз двум господам. Он стоял с обнаженной головой, держа лавровый венок в руках, а не на голове. Все заметили его издали, стали смеяться над ним и бранить его. Поднялся ропот. Когда ряд, в котором он стоял, подошел к начальнику, последний спросил его: «Отчего ты отличаешься от прочих?» — «Мне нельзя, — отвечал он, — наряжаться подобно им: я христианин!» — Его судили и казнили.

«Итак, они отрицают все и ненавидят всех, — говорили язычники. — Для них все равно преступны, кто не разделяет их сумасбродств. И ты, храбрый воин, самоотверженный защитник отчества; и ты, честный, неподкупный судья, карающий порок, оправдывающий невинность; и ты, деятельный, трудолюбивый торговец, законно приобретающий барыши и дающий стране, ошастливленной твоими оборотами, богатство и жизнь; и ты, красноречивый адвокат, и ты, блестящий поэт, и ты, мудрец и философ — вы все в глазах этих людей равно преступны и гнусны, как последний злодей, как осужденный разбойник и вор! Будь честен, будь мудр, деятелен, — как скоро ты не христианин, как скоро ты вместе с ними не отвергаешь всех основ общества — они приравнивают тебя ко всем преступникам. В суждениях их о людях нет середины — все крайность: или святой, или злодей. Если кто не отрицает условий и законов общества, тот негодяй, будь он хоть Соломоном [56], Платоном [57] или Сократом [58]! Какой ужасный, опасный, преступный фанатизм!»

«И кто же эти люди, которые осмеливаются так дерзко судить обо всем заветном и священном? Кто они? — ученые, мудрены, государственные люди, жрецы? Нет, это большею частью подонки, отребье общества, невежды, нищие. Дерзость их возмутительна! Напрасно бы стали обличать их невежество, доказывать им, что они не понимают ни философии, ни

искусства, ни условий практической жизни! Напрасно советовали бы им читать Аристотеля [59] и Платона, с целью убедиться, что рабство законно и неизбежно и что без него немислимо самое совершенное общество: все это напрасно! Они стоят на своем и не уступают ни доказательствам, не пыткам. У них вечно на языке нелепые фразы их невежественных учителей про преступность лихоимства, про бесчестность наслаждения среди общих страданий, про злодейство войны, про бессовестность судей, книжников и практических мудрецов!

Чего ожидать от людей, выше всего ценящих невежество и нищету? Эти отщепенцы постоянно твердят: «Блаженны нищие духом, блаженны страждущие, блаженны неимущие и алчущие! Горе счастливым, сытым, богатым!» Оно и понятно: такие нелепости могут прийти в голову только людям, помраченным невежеством, озлобленным страданиями, и вообще тем, кому нечего терять. Поэтому нельзя не согласиться с одним писателем их, который между прочим говорит:

«Богатый дрожит за свой дом, за свою собственность и находится в вечном страхе, чтобы его не ограбили. Но бедный всегда на все готов; у него нет этой заботы. Он выше всех мелких треволнений, и потому не боится пролить кровь и пожертвовать жизнью. Он могущественнее и богаче всех тиранов и царей. Я докажу, что это правда и что, говоря это, я не думаю льстить бедным. Я докажу, что тот, у кого нет ничего — чист и свободен душою. Сколько богатых, сколько сильных людей было во времена царя Ирода [60]! Но кто восстал против него? Кто покарал тирана? Не богатый, а тот алчущий и бедный, у кого не было ни стола, не постели, ни жилища, ни крова — пустынножитель Иванн [61]. Он наказал тирана, и, кроме него, не нашлось на это никого. Он восстал против его кровосмесительного брака и проклял его перед липом всех его царедворцев. Так точно, раньше Иоанна, великий Илия [62], не имевший ничего, кроме плаща, с тем же благородным мужеством покарал презренного Ахава» [63].

«Ничто не делает нас до такой степени свободными, ничто так не возвышает и не проясняет нашего разума, как бедность! Ничто не дает нам такого мужества в опасностях, такой безбоязненности и непреодолимой силы, как нужда и отчуждение от всех земных попечений. Кто хочет достичь высокой добродетели, тот должен быть бедным, должен не дорожить жизнью и презирать смерть. Он один сделает больше, чем вес богатые и сильные мира сего!»

«Таким-то образом они возвели бедность в добродетель и на этом построили всю свою нелепую общественную теорию! Конечно, такие сумасбродства сами по себе неопасны, потому что каждый видит неосуществимость и несообразность их идеалов. Но они опасны тем, что возбуждают в обществе вредные страсти, вызывают невежественную и голодавшую чернь на ненависть к просвещенным, господствующим классам, подрывают уважение к религии и судам и уничтожают в войсках дисциплину. Нельзя же допускать этого! А между тем, убеждением ничего нельзя сделать. Поэтому, во имя богов, во имя закона, во имя собственности, во имя цивилизации и прогресса, во имя спасения общества и империи — львам этих христиан, львам на растерзание!»

Триста лет следуя этой системе, христиан мучили, пытали и казнили. Судьи и палачи сами недоумевали, за какие преступления подвергают они мукам и смерти «только тысяч невинных людей. Плиний [64] писал императору, что переказнил многих, но решительно не знает за что, а между тем находится вынужденным казнить еще гораздо больше, потому что сами христиане выдают себя и оказывается их чрезвычайно много. Мудрый император отвечал, что не должно разыскивать христиан; но тех, которые сами выдают себя — казнить. По смерти мудрого блюстителя древних нравов эклектизм Адриана [65] удерживает на некоторое время усердие палачей. Но философ Марк-Аврелий объявляет весь мир в осадном положении и с новым рвением приступает к истреблению мирных врагов общества. С тех пор каждый правитель, считающий себя призванным спасти общество и восстанавливать добрые нравы, принимается травить христиан зверями и разводить для них костры.

Писатели не отстают от администраторов. — Лукиан [66] осмеивает христианство; Цельз опровергает его. Все, что есть мудрого и сильного на свете, восстает против невежественных бедняков, отщепенцев римского общества. Христианам остается в утешение только видеть, как с каждым днем возрастают беззакония старого мира и как он все ближе и ближе подходит к своей пропасти. Из сорока цезарей, от Нерона до Диоклетиана [67], только семеро умерли естественной смертью. Армия обратилась в дикую орду и поступала с гражданами Рима, как с германцами и парфянами. Лихоимство и накопление богатств в немногих руках кончилось общим банкротством и нищетой. Искусство и литература исчезли: артистами императорского Рима были гладиаторы, а ваятели и живописцы воспроизводили в храмах августейшую педерастию. Литература же отпала от старого мира и нашла убежище у христиан, оставив язычеству только компиляторов [68]. Наконец, во все пределы империи ломались варвары, шедшие положить конец старому варварству и водворить новое.

И такое-то общество вопияло о нарушении прав и законов, о презрении религии, о стремлении разрушать государство и основы социальной жизни! Какая ирония!

III. Секты

Римская империя и весь древний мир рушились с таким страшным грохотом; падение их сопровождалось таким ужасным разрушением и такими страданиями; нахлынувшие народы до того изменили все существовавшие до тех пор политические отношения и так изгладили все следы древней цивилизации, — что, казалось, будто в новом обществе, развившемся из хаоса варварской эпохи, не может быть ничего общего с погибшим старым; что все основания его должны быть иные; что из новых элементов должно выработаться нечто совершенно новое и небывалое.

Но что же, так ли было? Правда, внешние формы во многом изменились. — Древнее государство пало и долго не было ничем заменено; рабство переменялось на крепостное право; обычаи варваров заменили на некоторое время мудрость юстиниановских чиновников; классическое просвещение уступило место монашеским фантазиям и монастырской схоластике. Могло показаться, что общество действительно учредилось на других началах и руководствуется иными интересами. Однако, если, не останавливаясь на внешности, взглянуть на действительную сущность дела, окажется совершенно иное. Древний мир был основан на грабеже, эксплуатации и рабстве. „Все наши раздоры и междоусобия происходят от лихоимства“, — говорил Тацит. Все историки согласны в том, что настоящий смысл всех политических смут и переворотов Рима заключался в борьбе эксплуататоров с эксплуатируемыми, обдирал с обдираемыми — скажем по-русски. „Самая жестокая война — война патрициев с плебеями“, — говорил Ливий. „Рим перестал быть общим отечеством римлян; это два различных города: в одном нищета и рабство, в другом — изобилие и господство“. Патриции и плебеи вовсе не аристократы и демократы в том смысле, как понимали эти выражения революционеры прошлого века: это кредиторы и должники. В этом грубом обществе все отношения еще откровенны, просты и сводятся к двум категориям: лихоимство и насилие — плебеи и рабы. Рабство — плод физического насилия, военной победы, условие повергнутого наземь с ножом у горла противника; лихоимство — плод мошенничества, победы на более обширном поле борьбы за существование в анархическом обществе, условие жертвы, гибнущей с голода. Из этих двух отношений развилось все древнее общество и вся его история.

Точно то же представляет нам и новый мир. Лихоимство и рабство остаются его главными основаниями, когда все прочее исчезает. „Различие сословий было произведено не кровью, не расой, а собственностью“, — говорит один весьма благонамеренный историк, т. е. лихоимством, должно прибавить. Здесь лихоимство тесно сливается с открытым грабежом, так что в века кулачного права нельзя разобрать, где начинается грабеж, где кончается собственность.

Феодальная собственность вышла из завоевания, говорят все писатели, от аристократа Буленвилье до сочинителей „Прав Человека и Гражданина“ [69]. Ее дальнейшее

существование в феодальном мире соответствует этому началу. Каждый собственник — разбойник. Капитал его — неприступный замок, добрый конь и хорошее вооружение; проценты с него — добыча грабежа. Нет еще ни банков, ни биржи, ни акций, ни векселей, ни облигаций; дело делается просто: он собственник — он грабит, без лукавства и притворства, без страха и упрека — по-рыцарски. Духовенство, живущее в таких же укрепленных аббатствах, как и замки рыцарей, умеющее также хорошо ездить верхом и управлять копьем, — тоже собственник и тоже грабит. Кроме того, оно не пренебрегает пускать в ход и духовное оружие. „Кошелек или жизнь?“ — говорят рыцари. „Десятину или душу?“ — вторят им аббаты. „Плати или умри!“ — предлагают первые. „Плати или иди в ад!“ — подтверждают вторые. Барон де-Куси вымогал у проезжих деньги, вешая их за большие пальцы ног. В 585 году Маконский собор обещал такое же наказание, но в вечности, всем, кто не заплатит десятины. Барон был лучше императорских мытарей Рима: нужно было быть только осторожным и не попадаться ему. Аббаты и епископы были хуже: от них не мог укрыться никто. Мытари стучались в дверь бедняка; епископы стучались в его душу.

Духовенство господствовало в средние века, и не мудрено: оно было самым крупным капиталистом. Оно владело всем, чем и дворянство, и кроме того церковными громами. Церковные должности делали человека тем, чем теперь вексель Ротшильда; неудивительно, что в них вкладывались значительные капиталы, когда, помещенные таким образом, они приносили так много. Благочестивые люди возмущались продажностью церковных должностей. „Можно ли уважать то, что продается?“ — говорил папа св. Григорий Великий [70]. „Продажное все презирают. Церковь не может существовать там, где ею торгуют“. Папа рассуждал непоследовательно и притом непрактично. Если церковь может приносить хорошие проценты, отчего же нельзя торговать ею? Очевидно, что церковные должности, дающие доход и большой доход, должны рассматриваться, как капиталы, и подлежать всем правилам торговых оборотов. „Бог, — проповедуют епископы, — дал богатым имения для того, чтобы выкупать грехи“. Это, конечно, не похоже на принципы христианства Иоаннов Златоустов, Василиев [71], Григориев и Тертуллианов [72], но верно характеризует социальное положение церкви в средние века. Пастыри имеют власть разрешать и связывать; они покупают свои места на наличные деньги. Надо же стараться извлечь из капитала побольше процентов! Итак, религия обращается в лихоимство.

Пипин [73] богато одарил монастыри и тут же откровенно сознался, что сделал это в видах лихоимства. „Я отдал малость, — объявляет он с такою же невозмутимостью, как нынешние капиталисты, — чтобы приобрести громадные сокровища“. Церковь отвечает на это составлением таксы на все грехи.

Другое основание римского общества — рабство существует и в новом мире во всей своей силе. Тупоумные историки много толкуют о прогрессе, совершившемся при переходе от рабства к крепостному праву; кропотливые ученые тщательно раскапывали и разбирали все отличия между тем и другим.

Все это глупость или адвокатство. Действительной разницы нет не только между рабом и вилланом [74], но между рабом и современным, как его титулуют, — самодержавным я великодушным» народом. Если человека бьют и обижают, то все равно, под каким бы названием он ни терпел эти операции. Признают ли его крючкотворцы в своих мараниях

вещью или свободную личность, бесправным или равноправным, как скоро он бит и обобран, то не может быть никаких рассуждений: он раб, раб именно в смысле древнего мира, т. е. побежденный враг.

Средние века судились различно: поэты восхищались ими и воспевали рыцарей и их подвиги; люди серьезные и напыщенные своим прогрессом ужасались их варварству. Картина была, правда, не красивая, и две главные язвы человеческих обществ — лихоимство и рабство слишком открыто красовались на ничем неприкрытом общественном организме. В это время первый раз люди с грустью заметили, что они друг для друга — волки. Но такой наглый повальный грабеж едва ли не лучше предшествовавшего и последующего порядков. Конечно, при недостатке организации грабежа и лихоимства нередко лихоимствовали и грабили до того, что во Франции, в конце царствования короля Роберта, на площадях появлялось в лавках человеческое мясо. Не красиво, конечно, общество, где существует Wildfangiatrecht — право на пойманную дичь, — так называлось право, существовавшее в Фальце, по которому каждый владетель мог охотиться за всеми прохожими по его владениям, как за дичью, и, поймав, обращать их в рабство. Но такая откровенность безобразия имеет свои хорошие стороны уже потому, что зло никогда не признается законным, а всегда только терпится, как печальный факт, и люди принуждены постоянно упорно искать себе выхода.

В обществе, представлявшем такую картину, образовалось два различные стремления. Одни хотели устранить все, что в картине этой было слишком циничного и неблагопристойного, систематизировать грабеж, дать легальную форму насилию и организовать взаимное самопожирание правильным образом. Этого стремления придерживались все практические, умные и преподные люди, и ум и подлость их, разумеется, одержали верх. Они достигли своей цели, и созданные этим стремлением нынешние формы общества основаны именно на организации социальной борьбы, систематизации грабежа и легализации рабства.

Представители этого направления чрезвычайно многочисленны, и знаменитейшие из них приобрели себе громкие имена, как основатели тех условий, в которых живут нынешние общества. Это — короли, соборы, университеты, юристы, города, словом, все почтенное, славное, высокое. Они часто борются между собою, по-видимому действуют в совершенно противоположных направлениях, по-видимому исключают и губят друг друга. Но все это лишь по-видимому. На самом деле все они более или менее трудятся над одним делом обращения варварского общества в цивилизованное без изменения коренных основ его.

Доктора богословия и прав сочиняют теории из фактов, представляемых им обществом, приводят эксплуатацию в систему, дают грабежу санкцию религии и науки. «Грабьте отныне правильно, и можете не краснеть и не подвергаться такому риску, какой представляет жизнь наивного грабителя с большой дороги».

Короли сокрушают силу феодального разбойничьего рыцарства. Каким образом? Уничтожая разбой? Нет — организуя его. В числе разбойников, опустошавших в средние века все страны, были некоторые особенно страшные. Тогда как обыкновенные рыцари грабили каждый за себя и для себя и подкарауливали прохожих по своим владениям, другие занимались грабежом в более обширных размерах и правильнее. Они составляли шайки,

которые, под названием «черных шаек, кондотьери [75], брабансонов» и др., грабили и опустошали все страны. Это были страшные разбойники, и, в сравнении с этими странствующими толпами грабителей, разбой владельцев замков был шуткой. Но в общем мнении они вовсе не считались хуже рыцарей, а только страшнее. Подвиги их громко воспевались, многие короли и герцоги заискивали их услуг; в Италии они свергали и возводили династии, и очень часто делались сановниками, графами, владетельными князьями. Оно и понятно; они делали то же, что и все рыцари, по только сообща, с некоторой уже системой, так что были гораздо вреднее.

Короли воспользовались зачатком организации, какую представляли эти разбойники, и, охотно прибегая несколько веков к их услугам, кончили тем, что окончательно соединили с ними свою судьбу, дали им правильную организацию, постоянное жалованье, определили на государственную службу, которую в то время изобретали в сообщничестве с юристами, и сделали из них постоянные войска. Помощью их они разделались с феодалами.

О церковном грабеже и говорить нечего. Он с самого начала имел за себя и санкцию, и порядок; в теории и в системе у него никогда не было недостатка. Хлопотать о его узаконении много не приходилось.

Таким образом из бесцеремонной шайки хищников, обдирал, разбойников, грабивших в силу своего кулачного права и не помышлявших ни о каких теориях, политика королей, религия пап и паука юристов выработали трех главных представителей, три столпа современного общества — солдата, продавца индульгенций и палача, во всем их благочинии, во всей их законной помпе, во всем величии их сана.

Грабеж и лихоимство организовались — практики победили. Историки прогресса называют это началом нового времени, восходом солнца цивилизации над ночью варварства!

Историкам прогресса очень хорошо знакомы все факты, на которых можно бы, казалось, основать правильный и истинный взгляд на вещи. Но им не до того: они подавлены несчастной, односторонней мыслью показывать, как развивался в человечестве прогресс к добру. Они зазубрили себе на носу выдуманное каким-нибудь глупцом правило, что все, что ни делается, все к лучшему, и, руководствуясь этой *idée fixe*, радуются и рабству, как первому следу гуманности, и грабежам феодалов, как зародышу личной свободы, и войнам, как средству распространения цивилизации. — Словом, нет той мерзости, в которой они не нашли бы чего-нибудь хорошего и не порадовались. Вот истинно нищие духом, довольствующиеся всем, что ни дай им, хотя бы каплю розового масла в бочке грязи!

Но еще в XVII веке один писатель, приверженец Стюартов⁷⁶, королей божьею милостью, и их абсолютного, божественного права, изложил истинный взгляд на смысл европейской истории. Теория его основывалась не столько на исторических фактах, сколько на взгляде его на природу человека и на силе его диалектики. — Логика его была так непобедима, что о нее разбились все двухсотлетние усилия озлобленных либералов, и теория его стоит доселе, обходимая, предаваемая забвению, но неопровергнутая. Дело, конечно, не в диалектике, а в том, что этот писатель прав, как перед судом логики, так и истории.

— Я ваш! — (таков был смысл его похвал деспотизму), да и как мне не быть вашим? Посмотрите, как создалось общество, в котором мне довелось жить: началось с общего взаимного пожирания. Варвары, уничтожившие римскую империю, представляют нам естественное состояние людей, не вымышленное, не идиллическое, а настоящее. Они только что вышли из лесов: смотрите, это еще не общество, а толпа. Толпа эта управляется потребностью каждого бороться за свое существование. Поэтому каждый грабит всех и каждого, кого может, а если не может никого, то его самого грабят. Homo homini — lupus[7]! Затем смотрите, как из этой толпы составляется общество, государство. Вы думаете, что устранением старой борьбы, созданием солидарности интересов, уничтожением эксплуатации? Нет, все остается на старых основаниях, только приводится в систему, имеющую целью уменьшить риск грабителей, обеспечить им мирный способ эксплуатации и безопасное пользование добычей. Сдал ли человек для человека братом? Нет, по-прежнему волк, но волк прошколенный и дрессированный, а не безумно смелый и дикий, как прежде. Я сам принадлежу к волкам, я сам из числа эксплуататоров и лихоимцев; и живу спокойно и безопасно, не пачкая рук кровью, не подвергаясь риску: этим и обязан систематизации грабежа, представляемой нынешним порядком вещей. Могу ли я отказаться, следовательно, от вас, когда, благодаря вам, я могу безнаказанно грабить и разбойничать, сидя спокойно в кресле, у приветливого камина. Нет, я хочу продолжать свой грабеж, и потому мне нужны ваши солдаты, ваш продавец индульгенций, ваш палач. Нет, я волк, и вы мои заступники; и потому, Mitwölfe {8}, я ваш, как бы вы от меня не отмахивались!"

Вот сущность того, что говорит Гоббс [77], этот великий ум, который понял верно смысл истории европейских обществ и, как Маккиавелли, удостоился ненависти тех, кого, по-видимому, защищал!

В средние века должно было обнаружиться и действительно обнаружилось еще другое направление. Рядом с позитивистами и реалистами Лувра, Сорбонны и Ватикана были и утописты, бедные мечтатели, люди непрактичные и сумасбродные. И здесь, как в Риме, являются несносные отщепенцы, с теми же признаками, с той же печатью отвержения на лбу.

Но нужно и их судить справедливо. По правде сказать, мир был так обманут, что протест имел полное право заявиться. Рим пал, империя исчезла с лица земли, христианство распространилось по всей земле, — но из всего этого ничего не вышло. Все будто хлопотали главным образом из-за того, чтобы заменить свободой, равенством прежнее насилие, лихоимство и войну. Совершился катаклизм, потрясся весь мир, новые племена заняли место древних пародов, рушилась религия, — и что же? Гора родила мышь. Насилие и лихоимство господствовали по-прежнему, как ни в чем не бывало, как будто все это их не касалось, как будто вовсе и не было никогда сказано: «Блаженны алчущие, горе сытым!» Какое разочарование!

И вот новый мир, едва создавшийся, уже видит среди себя отщепенцев от себя, людей недовольных им, обвиняющих его в возвращении к старому, в обмане, в забвении истины.

В церкви была в то время сосредоточена вся духовная жизнь общества. Притом церковь была основана на том, во имя чего должен был совершиться переворот, в ожидании

которого обманулись. Вот почему протест против нового мира вышел из церкви и прежде всего обратился против нее. Отщепенцы от общества были прежде всего сектаторами, еретиками.

«Нам обещали, что не будет ни рабства, ни лихоимства», — говори ли люди и обвиняли церковь в подлоге и в ереси.

Двенадцать веков, один за другим, безостановочно поднимались эти протесты, всегда кроваво подавляемые, но возвращавшиеся постоянно снова с удивительным однообразным во внутреннем смысле и значении. Что же касается внешней формы их, то, конечно, спор шел большей частью о таких пустяках, что ожесточение, с которым одни преследовали, а другие упорствовали, будет совершенно непонятно, если за этой мелочной внешностью не видеть серьезного социального содержания.

Сам Иннокентий III [78], учредитель инквизиции и зачинщик религиозных войн, соглашался, что первая причина раскола — испорченность духовенства. До него другой великий папа, Григорий VII [79], считал возможным спасти христианство только совершенной реформой не только церкви, но и всего общества. Для обоих было очевидно, что дело не в личных недостатках некоторых духовных особ, а вообще во всем строе церкви.

Действительно, недостатки эти были так велики, что нельзя было не видеть их и не сознаваться в них даже папам.

В XI веке сама церковь признала это: реформа Григория VII имела в виду полное преобразование не только церкви, но и всего средневекового общества. Он был возмущен современным ему порядком и тем разногласием, какое видел между ним и основными положениями христианства. Папа этот был один из величайших революционеров. — Письма его напоминают речи французских якобинцев. «Кто были первые короли? — писал он, — люди насилия, люди, опозорившие себя всевозможными преступлениями по внушению дьявола, чтобы приобрести господство над подобными себе». — Он ненавидел церковную мораль, превратившуюся в финансовую спекуляцию для прокормления тунеядцев, и жестоко преследовал лихоимство и продажность духовенства.

Старик этот объявил войну всему обществу. Сперва духовенству он предъявил требования, казавшиеся неисполнимыми, чудовищными, возмутительными. Он требовал, чтобы оно отказалось от всяких денежных выгод, которые привыкло извлекать из своего положения, покинуло свои семьи, свое общественное положение, как феодальной аристократии, и возвратилось бы к чистоте первобытного христианства. Григорий VII отнесся к католицизму, как сектаторы IV и XVI веков: он отлучил современное духовенство от церкви, т. е. другими словами, сам отложился от современной церкви. Духовенство, возмущенное неслыханным посягательством, объявило папу еретиком, отлученным и низложенным. Против Григория поднялся анти-папа, за которого была почти вся церковь. Борьба была неравная. Григорий изнемогал и желал смерти. Его смелые желания казались неосуществимыми, и гибель его неизбежною.

Но безумный старик, не довольствуясь, что вооружил против себя все духовенство, смело вступил в борьбу и со светским порядком, развратившим церковь. Отлученный, низложенный, он не только не искал опоры себе в светской власти, но ни минуты не поколебался восстановить ее против себя и вступить в смертельную борьбу с императором. На что же рассчитывал он, восставая один против всего, что было сильного и авторитетного?

Как все отщепенцы, он обратился к демократическим началам общества. Он кликнул клич к пароду, задавленному и ограбленному. Он пробудил его от долгого сна, дав ему почувствовать беззаконие лежавшего на нем ига. Он запретил ему обращаться к недостойному духовенству и этим вызвал в нем озлобление против продажных представителей церкви. По одному знаку его, народные массы гнали вон низложенных им епископов. Он встал на сторону ограбленных императором саксонцев и поднял против Генриха его подданных.

То торжествующий, то побежденный, Григорий видел императора у ног своих, видел врагов своих низвергнутыми, но видел и торжество грубой силы, разбойничьих орд Генриха, был изгнанником, беглецом. После непрерывной и геройской борьбы он умер, говоря: «Я любил истину, ненавидел неправду, и потому умираю в изгнании». Его железная воля могла унижить императора, могла даже победить старые формы и, по крайней мере во внешности, добиться своего. Но истинного преобразования церкви и общества он не мог достигнуть и умер в сознании своего бессилия, разочаровавшись во всем, кроме правоты своего дела. Революционер сам, он имел своими преемниками инквизиторов. Друг народа, — он оставил свое наследство деспотам и грабителям. Мечтатель, имевший безумие отрицать лихоимство и насилие, он был предшественником практиков, обративших награды и наказания загробной жизни в предмет торга и спекуляции.

Но, конечно, настоящими предшественниками и преемниками Григория VII были не те, кто до и после него занимал римский престол, не Иоанны XII [80] и не Александры VI [81]. У него был другой ряд предков и потомков, ряд достойный его, ряд таких же благородных мечтателей и людей несокрушимой воли, таких же врагов установившегося порядка, как и он.

Этот ряд начинается тотчас по утверждению христианства, как господствующей религии. Еще в IV веке являются донатисты [82]. Спросите богослова, откуда явилась эта секта? Он скажет вам, что ее вызвало неправильное избрание одного африканского епископа. Но историк судит иначе: донатисты — это анабаптисты [83], жаки [84], санкюлоты [85] IV века. Секта донатистов — восстание рабов.

Когда, после упорной борьбы с язычеством, христианство восторжествовало, надо было ожидать полного преобразования общества на идее равенства, любви и свободы. Но крест победил, а все осталось по-старому. Христианство не принесло рабам свободы, угнетенным спасения, ограбленным избавления, голодающим хлеба. «Горе богатым и сытым!» — говорила религия. Но вот она победила, а богатые по-прежнему лихоимствуют, сытые по-прежнему отнимают последний кусок у голодающих. Те, которые ждали себе спасения от новой религии, почувствовали это противоречие и разлад слов с делами. Это вызвало

страшное негодование, увлекло многих в странные крайности. Все, кому было плохо, видели себя обманутыми и обвиняли господствующие классы в фальсификации христианства, в извращении его, в богоотступничестве!

«Новая вера обещала спасение, но спасение не пришло. Неужели виновата вера? Нет, евангелие свято и божественно, а виноваты те лицемеры, которые вместо евангельского христианства дали людям прежнее язычество в новых формах, старое вино в новых мехах. Ведь язычество было религией рабства: оно освящало, узаконяло и поддерживало насилие и лихоимство. Христианство — благая весть, потому что возвещало свободу и братство, осуждало грабеж, сулило царство униженным, кару деспотам и ростовщикам. Но та религия, которую выдают за победившее христианство, подобно язычеству проповедует насилие и грабеж; подобно ему освящает лихоимство; следовательно, религия эта не заповедь Христа; следовательно, члены ее — лицемеры, переодетые язычники, преступники, уличенные в искажении божественного слова!»

Мы удивляемся теперь мелочности поводов, возбуждавших разногласие католичества с его сектами. Нам кажется странным, что какой-нибудь текст мог служить причиной разрыва и борьбы. Но мы не видим, что и нам самим приходится во многом поступать точно так же.

Сектаторы обвинили католицизм в искажении христианства, и спор, сущность которого состояла в социальных вопросах, нередко вращался около догматов и сводился к богословским тонкостям. Но разве не то же самое все новейшие учения препирательства, происходящие в области философии, права, естествознания? Нас удивляет, что вопрос о первородном грехе мог возбуждать столько толков, столько интереса, столько ожесточения. Но взятые сами по себе все наши научные вопросы разве могут претендовать на большее значение? С точки зрения не относительного, а абсолютного значения вопроса, разве споры о свободе человеческой воли, о теории государства, о праве общества лад жизнью человека, о происхождении видов — смеют ставиться выше спора о предопределении или о предстательстве святых? Спорить о происхождении видов! Какое варварство, какая гнусность! Разве деспот низвергнут, разве лихоимец наказан, разве голодный накормлен, разве уничтожена эксплуатация, обуздано насилие и грабеж, дарована свобода? Разве все эти кровавые, жгучие, смертельные вопросы, осаждающие всех и каждого от зари до зари, всякий день, всюду и во всем — разрешены и удовлетворены? Разве зажат рот лжи и тупоумию, устранены на веки ужасы общественной анархии, водворены спокойствие и порядок? Нет, нет, тысячу раз нет!

Направо и налево, здесь и там, всюду людей убивают, мучат, давят, лишают свободы, морят с голоду, обирают, — а мы спорим о происхождении видов! Что это? Немилосердная жестокость сытого брюха или непонимание идиота? Наглость ума, извращенного оргиями насилия, или крайний разврат совести, погрязшей в лихоимстве? У многих, к сожалению, — и то, и другое.

Но часто все эти вопросы, столь непристойные, по-видимому, среди общего плача и скрежета зубов, только прикрывают собой более жизненные. Оттого-то споры о них ведутся с таким одушевлением, с таким жаром, с таким фанатизмом. Конечно, слово не дело; лучше, по примеру Христа, гнать торгашей и негодяев из храма, чем тратить время на споры с

ними. — Но гнать их могут только соединенные усилия общества, а частным людям приходится поневоле ограничиваться словами. В XVIII веке споры шли на всех бесчисленных пунктах знания и религии и велись не даром: пришло, наконец, время, когда можно было начать делать дело, и тогда словесные препирательства стали неуместны. «Республике не нужна наука», — сказал судья, судивший Лавуазье, и был прав, потому что республика эта еще ничего не сделала в важнейших вопросах человечества и потому не имела права на науку.

Но в IV веке круг умственной деятельности был слишком тесен и сосредоточивался исключительно в религиозных вопросах. Поэтому споры поневоле ограничивались тем или другим католическим догматом и, как теперь, часто за этой внешностью вовсе пропадало внутреннее значение споров. Социальный вопрос, прикрытый богословским, часто вовсе забывался, и оставался только богословский. Средние века имели своих академиков, профессоров и ученых писателей, с тою только разницей, что препирались они не о происхождении видов, а о предопределении, и вместо микроскопа были вооружены крестом и облатками.

Но часто также дело выходило за пределы богословского диспута. Донатисты не заботились о тонкостях догматики; они знали, что им была обещана свобода и что свободы этой они не получили. Поэтому они объявили войну на жизнь и смерть сильному и властвующему. Циркумцеллионы, как их называли, т. е. бродяги вокруг домов (*circum cella* {9}), — ходили из города в город, истребляли богатых, проповедывали равенство и коммунизм и беспощадно мстили притеснителям, сказавшим слово божие. Последователи Карпократа и Евстафия [86] хотели общинности имущества и уничтожения семьи и брака. Крайняя секта Каинитов возвела в высшую добродетель все то, что презиралось и преследовалось обществом, как величайшее преступление. Каиниты — римские Лассенеры. Они доказывали законность и святость убийства и войны с обществом всеми средствами. Идеалом их был первый преступник Каин.

Конечно, нельзя верить всему, что католические писатели рассказывают о сектаторах первых веков. Известно, как бессовестно и тупоумно клеветали на христиан язычники, пока были в силе, и впоследствии паписты на вальденцев, альбигойцев и других еретиков. Однако весьма может быть, что в первое время христианства отщепенцы от церкви доходили до гораздо больших крайностей, чем первые христиане и последующие сектаторы. Дело в том, что христиане были полны веры в свое учение, ожидали от его торжества полного преобразования мира, не сомневались в своей победе и потому не имели ни разочарования, ни ожесточения против врагов своих, которых считали скорее достойными сожаления заблуждающимися несчастными, чем преступниками. Точно такая же вера одушевляла и позднейших еретиков, предшественников реформации. Но сектаторы первых времен были полны разочарования и негодования на обман и измену христианству.

Церковь и государство обратили против еретиков все свои силы. Но пока власти занимались их истреблением, для них самих настал последний час. Лихоимство и насилие нашли наконец себе достойное наказание. Варвары уничтожили империю, и на несколько веков водворился хаос, пока из нахлынувших диких орд вырабатывался новый общественный порядок. Мы уже видели, каков он был; мы говорили уже, что новое общество, как и старое,

основалось на грабеже и эксплуатации и что сама католическая церковь совершенно усвоила себе эти основания и развивалась совершенно на тех же началах, как и все другие общественные элементы. Безуспешная попытка исправления Григория VII не помогла делу: папа потерпел неудачу, и практики восторжествовали.

Но если даже с высоты римского престола раздался наконец протестующий голос, то тем более должны были найтись протестанты и отщепенцы в низших сферах общества. Действительно: начиная с XI до XVI, история показывает нам бесконечную вереницу ересей и постоянную борьбу с ними церкви и общества.

В самом начале XI века церковь начинает жечь во Франции так называемых манихеев [87]. Они проповедуют против суеверий, распространяемых церковью, отвергают главнейшие ее догматы, а главное, живут скромно и бедно, ненавидят и избегают торговлю, ведущую к лжи и обманам, живут трудом рук своих, как работники, и даже священники их занимаются ремеслами. Они довольствуются малым, отвергают богатства, постоянно работают и учат; на молитвы они не тратят времени, следуя правилу: кто работает, тот молится.

За ними в XI, XII и XIII века являются одни за другими катары [88], вальденцы [89], лионские бедняки, альбигойцы [90]. «Истинная церковь только в нас, — говорили катары, — мы одни следуем Христу, одни живем по апостольски. Мы не ищем благ сего мира, не владеем ни домами, ни землями, ни деньгами, потому что Христос сам ничем не владел и запретил ученикам своим иметь собственность. А вы наживаете дом за домом, землю за землей, лихоимствуете и крадете. Мы же, бесприютные бедняки, ходим из города в город, как овцы среди волков, терпим гонения, как апостолы и мученики».

Вальд, богатый лионский купец, вошел однажды, как рассказывают, в церковь и услышал слова евангелия: «Если хочешь идти за мной, раздай все имение свое бедным». Он немедленно продал все свое имущество и разбросал деньги в грязь, в знак глубокого презрения своего к ним.

Лионские бедняки не имели ни собственности, ни пристанища; они ходили всюду, проповедуя правила чистою христианства.

Наконец, среди всех этих сектаторов, сжигаемых и истребляемых всячески с дикой яростью, встречаются имена таких людей, которых церковь не могла объявить прямо еретиками и даже признала святыми, хотя, впрочем, всегда с неудовольствием смотрела на серьезное проведение в жизнь их правил. Таков был св. Франциск Ассизский [91], который говорил своим ученикам: «Братия! Бог призвал меня идти путем простоты и смирения за безумием креста и сказал мне: Франциск, я хочу, чтобы ты был в мире безумцем и проповедывал бы речами и делами безумие креста». Бот слова настоящего отщепенца, врага практической лихоимствующей и насилующей мудрости, человека, желающего правды и свободы и брошенного в общество, где правда и свобода считаются безумными бреднями, где высшей мудростью признается бесконечный ряд цепляющихся друг за друга компромиссов.

Франциску Ассизскому не посчастливилось еще более, чем Вальду. Последователи Вальда погибли на кострах инквизиции и в пожаре разоренного Лангедока; последователи

Франциска обратились в толстых, бесстыдных, грязных монахов нищенствующих орденов и своей жадностью и развратом еще хуже опозорили и без того уже опозоренный католицизм.

В следующих веках протест не умолкает, несмотря на все злодейства и ухищрения духовных и светских властей. Являются английские лолларды [92] и богемские иоанниты [93], Виклеф [94] и табориты [95]. По примеру своих предшественников, они вооружаются против грабежа, господствующего в обществе. Виклеф проповедует против лихоимства церкви. Народ, возбужденный его учением, предводимый Уатом Тайлором [96] и лоллардскими проповедниками, восстает против королевских чиновников и подступает к резиденции короли. Ричарда [97] спасает только изменническое убийство народного вождя; преемники его казнят лоллардов массами. Генрих V [98] устраивает общего резню их; они погибают, но через двести лет воскресают в пуританах и индипендентах. Все они стремятся ниспровергнуть тиранию, уничтожить разврат сильных и богатых и водворить порядок на справедливости, равенстве и свободе.

То же самое происходит и в других странах. В Богемии иоанниты проповедуют евангелие Св. Иоанна, как они называли учение о свободе и равенстве. И здесь также, под видом богословского, догматического разногласия, идет борьба бедняка против богатого, честного против подлого, угнетенного против деспота, сына и младшего брата против отца и старшего брата, работника против лихоимца, слуги против хозяина.

Богемские еретики, восставшие мстить за казнь Гусса [99], говорят языком пророка Самуила и папы Григория VII. Когда народ требовал низложения Венцеслава, один проповедник стал защищать его: «Братья, — сказал он, — хотя король наш тунеядец и пьяница, но где же найти лучшего? Напротив того, его можно считать образцовым государем: мы сильны его слабостью. Помолимся же господу о его здравии и пропоем ему многие лета!» И народ с хохотом подхватил: «Многие лета!»

Несмотря на победы Чишки и Прокопов [100], движение таборитов было подавлено. Но народы европейские, как некогда народ иудейский, постоянно высылают из среды своей храбрых Гедеонов и могучих Сампсонов [101]. Немудрено, что в эти времена борьбы угнетенных против организованного грабежа взоры восстававших с любовью обращались к этим поэтическим образам Ветхого Завета, что у всех были на устах речи Самуила и Исаи и рассказы о подвигах вождей народа божьего против безбожных филистимлян [102]. Удивительные примеры книги Судей были у всех на глазах. Чуть не каждое поколение имело своих Навинов и Сампсонов. Напрасно тираны изменчески убивали Тайлоров и Гуссов: продолжатели их не заставляли себя ждать, и борьба, подавленная на минуту, вспыхивала с новой силою, пока не разразилась наконец громовым ударом в движениях XVI века.

Движения, сопровождавшие реформацию, были последним великим проявлением борьбы в религиозном духе. Поэтому в них всего сильнее и полнее выразился смысл всех сект. Тома Мюнцер [103] был последним сектатором и высказал все задушевные мысли своих предшественников.

Таким образом, по мере того, как грабеж все более и более развивается и возводится в систему, протесты против него раздаются все громче и громче. Выйдя из веков грубого

насилия, из бесцеремонности кулачного права, общество должно было содрогнуться от ужаса, взглянув на себя. Так вот к чему привели целые века исторической жизни! Так вот идеал, о котором мечтали люди, измученные вечной войной! Нечего сказать: было на что порадоваться!

Духовенство, с папою во главе, торгует святыней, утопает в разврате и тянет деньги с правого и виноватого, — духовенство невежественное, тупое, жестокое, без веры, без всякого другого отношения к обществу, кроме обирания его. С ним рядом громадное скопище убийц по ремеслу тунеядствует, грабит и не имеет другого назначения, кроме самозащиты и защиты своих атаманов и приживалок их — аббатов, юристов и торгашей. Вот что представляли собою государства XIV—XVI столетий, государства, основанные и державшиеся фальшивою монетою, фальшивым правом, фальшивыми декреталями [104], фальшивою наукою и союзом с разбойниками против мирных граждан, с арманьяками [105] против Жаков, с ландскнехтами [106] против крестьян Франконии [107] и Швабии [108]! Государства — воплощенные противоречия, где анархия считается порядком, добыча грабежа — собственностью, а все бесчестное, нелепое и насильственное — священным, разумным и справедливым!

Практики видели это и мудро решали, что нужно совершенствовать и преобразовывать. Но что же совершенствовать? Насилие и лихоимство? Кроме того больше ничего не было. Какие возможны реформы? Что преобразовать? Все практики, от Филиппа IV [109] до Лютера, от преобразователя государства до преобразователя церкви, занимались только совершенствованием эксплуатации и узаконением грабежа. От вымогательства силою перешли к мошенничеству подделкою денежных знаков; от финансовой системы Филиппа Красивого к финансовой системе Филиппа Орлеанского [110]; от обмана к обману, от надувательства к надувательству, и рядом банкротств, ликвидаций и революций пришли к Наполеоновской империи, к оборотам Фульда, к пес plus ultra {10} воровской ловкости!

В других отношениях реформы шли также непрерывно и успешно. От абсолютизма переходили к Конституциям, от конституций к республикам, от аристократии к буржуазии и демократии; от папского авторитета к лютеровскому и от лютеровского к гегелевскому. Все эти реформы прославлены, возвеличены, как будто к чему-нибудь привели, кроме того, что изощрили ловкость плутов и заменили лом подпилком.

Мюнцер представляет пример человека, понимавшего нелепость и бесплодность этих реформ. Он и современные ему люди этого направления решительно отложились от практики доктора Лютера, доктора Лгуна, как они его называли. Они видели, что его пресловутая реформа не стоит гроша, потому что вовсе не касается главнейших язв современного общества. Они разошлись с ним, стали отрицать все то, на чем он строил свои реформы, и сделались отщепенцами не только папской, но и лютеранской церкви, не только злоупотреблений, но и порядков государства.

Никто лучше Мюнцера не выразил истинного смысла отрицания. «Надо искать веры в неверии, неба в аду», — сказал он; другими словами: чтобы верить, надо отрицать, чтобы строить, надо разрушать, чтобы любить, надо ненавидеть.

Он высказал решительно то, чего всегда хотели и что всегда проповедывали все сектаторы и отщепенцы, во имя чего они отрицали современные общества. *Omnia simul communia* {11}, все должно было быть общим, и каждому по потребностям его: таков был его коренной принцип, во имя которого он восстал против грабителей и лихоимцев, против их защитников и прислужников.

«Наши князья и господа, — писал он, — рассол лихоимства, воровства и разбоя. Они все забирают себе в собственность: рыб в воде, птиц в воздухе, растения на земле; все принадлежит им. И для оправдания своего явного грабежа, они толкуют беднякам о заповеди Божьей, говоря: Бог повелел не красть! Но до них эта заповедь не касается. Они обируют и грабят бедных поселян, рабочих, словом, всякого живого человека. А других за малейшую провинность вешают, и доктор Лгун приговаривает: „Аминь“. Поэтому и говорю прямо, что хочу восстать и восстану».

«Встаньте, встаньте, встаньте!» — писал он рабочим в рудокопнях Мансфельда. «Пора! злодеи оробели, как псы. Зовите братьев, ведите их сюда, потому что мера переполнилась! Встаньте, встаньте, встаньте! Не склоняйтесь на милосердие, если Исав будет задобривать вас добрыми словами (Быт. 33). Не обращайтесь на плач безбожных, не щадите их, когда они станут умолять вас и рыдать, как дети, ибо Бог так повелел Моисею [111] и то же заповедал нам. Да не остынет меч ваш в крови!»

К самим тиранам он обращается так: «Да трепещет злодей!» (Рим. 2).

«Так-то злоупотребляешь ты, тиран, словами апостола? Ты думаешь доказать законность злодейской власти, подобно папам, которые обратили св. Петра и Павла в палачей?! Но неужели ты не подумал, что Господь во гневе своем может, наконец, возбудить неразумный народ низвергнуть тебя!»

«Не о тебе ли и тебе подобных сказано (Лук. 1), что Господь унижит гордых и возвысит униженных, которых ты презираешь? Не видел ли ты в своей лютеровской каше или виттенбергской похлебке, что пророчит Иезекииль [112] в 37 гл.? Не видел ли ты хоть в мартиновской пачкатне, как говорит этот пророк, в 39 гл., о том, что „Бог прикажет всем птицам небесным пожирать тело князей“. „И дикие звери будут пить кровь великих мира сего“ (Апок. 18 и 19). „Проклят, — говорил он духовенству, — кто проповедует миру сладкого Христа, потворствуя грязным поползновениям богатых. Вы говорите, что достаточно быть добрым христианином, что вера обойдется и без дел. Фу, фу, книжники и фарисеи проклятые, какую вы подлость несете! Вы убийцы и воры, потому что не печалите, не огорчаете, а веселите и утешаете“.

„Справедливо говорит Иезекииль, что сердца проклятых превращаются в камень, как, напр., у пасторов и у подобных им (у юристов); они читают свои книги и самодовольно говорят: мы мудры и знаем закон Господа. Они, как журавли, ходят по лугам и с алчностью глотают лягушек из луж и потом изрыгают их в гнезда своим птенцам. Они, эти псы, пожирают целиком тексты, но неспособны понять их. Ах, ах, не втолковать им истины, не возьмут они ее в толк (*Ah, ah, frangere non possunt!*) {12} Увы, увy, они проповедуют, как Валаам! [113] — Божье слово на устах, но от сердца далеко“ (*Oh vae, vae et in aeternum vae, instar Balaam*

praedicantibus!){13}.

Эксплуататоры рассуждали иначе. „Прошу вас, друзья, мужественно сразиться с этими злодеями и убийцами“, — говорил своим ландскнехтам Ландграф Гессенский перед Франкенгаузенем. Сам бог заповедал почитать власти, ибо Павел говорит: противящийся властям наказан будет, потому что всякая власть от бога. Я говорю вам это не с тем, чтобы унижать крестьян, а потому что это правда. Я знаю, что мы часто заслуживаем наказания, потому что мы люди и часто грешим; но восстание все-таки недозволительно. Бог приказывает почитать власть, а когда же можно воздать ей большую честь, как не тогда, когда она в ней больше всего нуждается? А власть всего больше нуждается в чести, когда унижена или когда совершила проступок; и подданные должны помочь ей нервности свой позор, почтить и прикрыть, как Сим прикрыл Ноя, дабы остаться в мире и согласии. — Крестьяне платят небольшие подати, за то могут жить спокойно, кормить и воспитывать детей; подати налагаются для их же спокойствия. Скажите, кому от них польза, как не самим же подданным?»

Но не только князья и военные предводители, а и сам Лютер утверждал, что "уничтожить крепостное право — дело противоевангельское и разбойничье, потому что грабеж — лишать господина владения человеком, принадлежащим ему, как собственность. Сам Авраам [114] и другие патриархи имели крепостных, и Павел пишет (Гал. 4), что «господин и раб во Христе нераздельны».

Таким образом самые вопиющие насилия и безобразия находили себе и тогда очень красноречивых и почтенных защитников. Лютер, не побоявшийся еще недавно пойти по следам Гусса, по дороге, приводившей доселе всех, кто шел по ней, к костру, доказывал доводами и примерами законность рабства и беззаконность его уничтожения! Он стоял за священные права собственности так же горячо и твердо, как нынешние демократы и либералы, и находил, что уничтожать рабство — просто разбой! Ландграф Гессенский был также государь либеральный и просвещенный; его речь даже мягче и не так явно нелепа, как проповедь Лютера. Он допускает, что власть может погрешать; он не говорит, что князья имеют абсолютное и священное право обирать народ; напротив того, он указывает как на вещь нормальную и справедливую, что народы платят для собственной пользы, выражая этим правило новейших либералов: правительство для народа, а не народ для правительства. Все, чего он просит и желает, — он, владетельный князь и главнокомандующий, — чтобы народ не ставил ему всякую строку в лыко, не упрекал бы его за всякую несправедливость, но прикрыл бы великодушно его наготу, когда ему случится обнаружить ее перед другими. Чего умереннее? До сих пор еще либеральные парламентские ораторы всегда громко не одобряют то, что они называют *déconsidération du gouvernement*{14}, унижение правительства в общественном мнении, — что совершенно то же, что нелестное для правительств сравнение Ландграфа.

Но все эти доводы, очень основательные в глазах тех, кому более выгодны, казались народу и его вождю такими же бессмысленными и бессовестно-глупыми, какими кажутся нашим современникам речи, писания и проповеди либеральных консерваторов и консервативных либералов.

Новомодные либералы с ужасом и негодованием рассказывают о жестокостях церковных властей против сект и сектаторов. Действительно, мартиролог сект несравненно богаче мартиролога церкви даже со всеми ее 11.000 замученных дев и таким же количеством умерщвленных детей. Гонения христиан при императорах могут показаться временами кротчайшей гуманности и просвещенной веротерпимости в сравнении с преследованиями еретиков церковью. Прославленные злодеи императорского Рима не казнили и двадцатой доли того, что истребили благочестные короли Испании и Франции. В ряду палачей человечества имена Сигизмунда [115], Филиппа II [116] и Людовика XIV [117], Иннокентия III и Пия V, Торквемад [118], Альб [119], Гизов [120] и других подобных страшилищ стоят далеко выше всевозможных Фаларидов и Антиохов, Неронов и Лициниев [121] древности. Индейские туги, знаменитые ассасины, корсары Алжира и турецкие янычары погубили меньше жертв и были великодушнее христианских монахов св. Доминика [122] со святою инквизицией, были человечнее страшных палачей в кардинальских шляпах и герцогских коронах, которые заседали в советах наихристианнейших и наикатолических королей. Сибарисский бык, иллюминация нероновских садов, сивашская расправа Тамерлана [123] помрачены мадридскими *auto de fé* [124], эшафотами Гревской площади [125], штурмом Магдебурга. Только невероятные летописи персидского двора могут дать понятие о тайнах Версаля [126] и Сент Джемса, Ватикана и Эскуриала [127].

Черная, густая тень бесконечного ряда страшных преступлений покрывает страницы церковной истории. Что ни год, то где-нибудь во имя ее льется потоками кровь «*ad majorem Dei gloriam*» [16]. Римское духовенство дошло наконец-то до того, что историк затрудняется, кого скорее признать в рясе — ростовщика или палача. Свершились факты, до того чудовищно нелепые, что самое смелое воображение не могло бы выдумать ничего подобного. Монашество, основанное некогда отщепенцами общества, монашество — приют людей, бежавших в безлюдные степи от жестокостей и разврата лихоимствующего и палачествующего общества; монашество столпников [128], порожденное чувством святым и законным при известных условиях, чувством знакомым и мудрецам Индии, и европейским пророкам, и стоикам Рима, и обманутым жизнью благородным героям наших времен, — монашество, последнее слово философии всех времен и последнее прибежище честного человека во времена повальной подлости, — монашество, кто бы поверил этому? — обратилось в шайку лихоимцев, мало того, в палачей! Вот до чего доводит неумолимая логика истории.

Когда основание истинно, то логика приводит к правде, иногда так скоро и неожиданно, что блеск этой правды поражает людей удивлением, и они благоговейно преклоняются перед ней. Или же, когда ложь лежит в основании жизни, то логика вдруг раскрывает перед нами такую бездонную пропасть неправды и зла, такое невероятное извращение всякого смысла, что мы в отчаянии спешим закрыть летописи человечества, которые являются нам в эту минуту медицинским свидетельством в его неизлечимом умопомешательстве.

Никакая святость, никакие добродетели членов католической церкви не искупят ее прошлого, не оправдают ее инквизиции, ее кровавых подвигов и религиозных войн. Двойной позор лихоимства и палачества покрыл ее на веки, и в этом проигранном деле равно погибла и память святых, и память преступников. Нынешние бойцы за правду и свободу без сочувствия смотрят на людей, которые некогда, подобно им, боролись за правое дело и

погибали в этой борьбе. Но венец мученичества, надетый на них Римом католицизма, хищным, алчным и жестоким более, чем Рим язычества, лишил их на долго ореола славы в благодарных воспоминаниях народов о героях, потрудившихся для них. И католичество лишилось возможности с справедливою гордостью указывать на имена своих героев, служивших не ему, а человечеству, и заплативших жизнью за желание освободить людей. Оно не смеет указывать на свой мартиролог [129], потому что у врагов его есть свой, иной мартиролог, и в нем на имя каждого мученика церкви найдутся сотни имен ее жертв.

Так, без ответа и оправдания, стоит церковь перед судом истории, перед неподкупным судом потомства. Ее благословляющие пальцы в крови: белые ризы ее в кровавых пятнах, и никакие фимиамы не уничтожат запаха жженого человеческого мяса, которым она пропахла; никакие гимны не заглушат замогильных голосов казненных, замученных жертв, тех голосов, которые раздаются в памяти народов. Слова оправдания замирают на устах того, кто, движимый состраданием, хотел бы сказать в ее пользу доброе слово. Не сулят ей пощады и устремленные на все холодные взоры присяжных и свидетелей, и в глазах их не светит сочувствие. И судьи готовы уже надеть черную шапку... Fiat justitia!{17}

Но вот — верх срама и бесчестия! — против преступницы подымается голос ее сообщника! Тот подымается против нее, кто участвовал во всех ее преступлениях, кто, то ссорясь, то мирясь с нею, действовал всегда с ней за одно и для кого она совершила свои величайшие преступления, свои самые нечеловеческие злодеяния. Против нее подымается ее же брат, сообщник и любовник, который похитил у нее евангельскую непорочность, который из святой девы обратил ее в кровожадную фурию, в алчную развратницу; подымается светский теолог, юрист, солдат, представитель государственной мудрости!

Он видит ее унижение, ее позор, ее неизбежное осуждение и спешит предательством, отступничеством закупить судей, выйти целым и невредимым из рокового процесса. Презренный, он представляет против нее новые факты; он помогает памяти свидетелей; он уличает ее в самых задушевных ее стремлениях и намерениях, которые она поверяла ему одному в те минуты, когда, лежа в объятиях друг друга, они сообща составляли свои черные планы, грозящие бедой пародам. Он добродетельно ужасается ее злодеяниям, взывает ко мщению, радуется ее унижению, готов открыть для нее в своих застенках самые жестокие орудия пытки и отыскать в своем уголовном праве самую медленную казнь!

Но нет, этой лжи, этой презренной уловке не удастся восторжествовать. Та самая история, которая дала факты для осуждения одной, обвинит и другого. Сама преступница, в которой все, что было еще благородного, вспыхнет негодованием при этой неслыханной измене, подымет голову и заговорит, чтобы взвести с собой на плаху своего бесчестного сообщника и обличителя.

Католические, клерикальные историки справедливо отвечают на гнусные выходки либералов, что церковь казнила и гнала не по имя теологической правды, а во имя государственных интересов. Сектаторы погибли на кострах и виселицах не потому, что не соглашались с церковью в том или другом догмате, а потому что все без исключения были врагами старого общественного порядка, противниками по церкви, а государства и социальных условий. Вот за что погибли они не столько от руки духовных, сколько светских

властей, погибли не под громами анафем, а под секирою палачей, под ударами сабель и штыков, по приговорам юристов и королей, полководцев и чиновников.

Кто убил предательски Тайлора? — Лордмер Лондона, министр Ричарда II. Кто предательски выдал Гусса? — Император Сигизмунд. — Кто истреблял лоллардов и иоаннитов, гугенотов [130] и цвинглиян [131]? — Короли Англии, Богемии, Франции и аристократии Швейцарии. — Кто обратил в пустыню цветущий Лангедок, родину вальденцев и альбигойцев? — Армии французских королей. Неужели несколько монахов сожгли сотни тысяч еретиков в Испании, Бельгии и Англии? Нет, их сожгли государственные власти, короли, наместники, регенты, сожгли не за мнения об евхаристии [132], а на восстание против насилия и грабежа.

Правда, во всех этих случаях духовенство играло важную роль. Из Ватикана раздавался голос, призывавший царей и народы на священную войну против сект и еретиков. Духовенство заседало в «кровавых» советах, где задумывались и решались «кровавые» свадьбы. Монахи поджигали костры и благословляли убийц на новые зверства. Но главным виновником было не духовенство, к дело шло вовсе не о духовных интересах.

История секты анабаптистов и крестьянского восстания Мюнцера лучше всего показывает, кто был настоящий виновник и о чем шла речь между гонимыми и гонителями.

Пока речь шла о церковной реформе, до тех пор никто не помышлял серьезно противодействовать этому движению. Напротив того: князья были очень рады случаю воспользоваться владениями и доходами духовенства. Но когда за Лютером явились другие проповедники, понявшие, что беда не в индульгенциях, не в папской власти и не в безбрачии духовенства, а во всем социальном устройстве; когда под евангельским учением стали разуместь, по примеру прежних сектаторов, учение равенства и свободы, — тогда началась борьба. В этой борьбе духовенство принимало участие только в качестве светских князей и помещиков, а не в качестве блюстителей чистоты католической веры. Из числа государей, особенно отличившихся деятельностью, многие сами были еретики в смысле католического учения, а тот, кто громче всех кричал против движения, был в глазах истинно верующих самым антихристом.

Тем не менее борьба между высшими сословиями и крестьянами, между государями и Мюнцером, между старым обществом и «новым евангелием» имело вполне характер войн религиозных. Мюнцер был и глава секты, и политический вождь. По выражению историка, «в нем, как в фокусе, отражались и сосредоточивались все явления будущих времен; он был микрокосмом будущности». Не только будущности, но и прошедшего, потому что он — предшественник революционеров XVIII и социалистов XIX века, который подает в истории руку всем сектаторам и, как звено, соединяет в общую цепь весь ряд исторических отщепенцев. Историк говорит о нем, «что дух его до сих пор парит над европейскими странами, веет в хижинах крестьян и проводит глубокую морщину на челе мыслителя за полунощною лампой; этот дух живет в речах честных защитников народа». Да, это тот самый дух, который никогда еще не умирал в истории, который жил в стоиках Рима, в христианах, в сектах и в политических деятелях новейшей истории.

Этот дух всегда вступал в борьбу с коренною ложью общества и возбуждал против себя самую непримиримую ненависть и самое ожесточенное гонение. Так же упорно и озлобленно велась с ним борьба и в шестнадцатом веке, когда он снова явился на мировую сцену в лице Мюнцера, последнего сектатора и первого социального демократа новой истории,

В это время средневековый мир приближался к тому же концу, который, при начале христианства, стал грозить миру древнему. Банкротство верований и учреждений было полное, и ликвидация казалась непредотвратимой. Правда, соединенным усилиям всех, кому она грозила гибелью, удалось отсрочить ее еще на два века, но какими же средствами! Нужен был орден иезуитов [133], нужна была политика Карла V [134], нужно было истребление людей в неслыханных размерах, чтобы протянуть дело еще на 250 лет. Но в первой половине XVI века все эти средства еще не были пущены в ход, и развязка, по-видимому, приближалась быстрыми шагами.

В Германии раздался первый решительный удар против средневекового общества. Одно время, правда недолго, всего одну короткую майскую ночь, как говорит историк, казалось, что удар этот сразу сломит обветшалый и обанкротившийся мир насилия и лихоимства. «Факелами осветился старый Кифгейзер, где столько веков спит в заколдованном сне император Рыжая Борода; встревоженные вороны в испуге вылетели из своих гнезд, и, казалось, настала минута, когда на новом майском поле соберутся свободные народы».

Но сила была на стороне врагов свободы, и сила восторжествовала. Отщепенцам, как Мюнцер, не суждено одерживать побед в поле: им суждены победы только нравственные. Франкенгаузенское сражение решило судьбу демократии XVI века и судьбу Мюнцера. Он был взят в плен и предстал перед судом своих победителей. На упреки их он отвечал, что поступил хорошо, предприняв наказать государей за измену евангелию и христианской свободе; что он, побежденный и пленный, остается при убеждении, что им необходимо видеть узду и намордник; что если крестьяне разбиты, это не его вина, — так, стало быть, им было суждено.

На эту смелую, благородную речь отвечал юный тиран Филипп Гессенский. Он отвечал ему в духе Лютера цитатами из библии против возмущения и о повиновении властям.

Мюнцер не удостоил его ответом. Что ему было говорить? Спорить с палачом, уже занесшим над ним топор? Это хуже, чем проповедывать в пустыне. Тогда его повели на пытку. Государи присутствовали при ней, и тешились, и злорадствовали. Затем его перевезли к жестокому Эрнсту Мансфельду, его личному врагу, у которого его ожидали новые истязания.

Наконец, в лагере перед Мюльгаузенем, совершилась казнь. Князя снова присутствовали, как будто для того, чтобы как молено хуже опозорить себя перед потомством своей жестокостью и глупостью. Его, святого мученика, готовившегося испить последнюю чашу горести за свое дело, его, фанатика, восторженно шедшего навстречу казни, стал увещевать мелкий саксонский тиран, католический герцог Георг. «Пострадай, Томас, — сказал он ему, — за то, что вышел из своего ордена, снял духовную рясу и взял жену». Но

другой палач, лютеранин Ландграф, прервал его: «Нет, Мюнцер, за это не стоило бы тебе страдать; а за то пострадай, что взбунтовал народ!» Так разыгрывались перед мучеником глупые споры и мелочные раздоры его венценосных мучителей.

Он поднялся на своей тележке, в которой был прикован цепью; мучения пытки и тюрьмы, близость смерти не смущали его ясного духа. Смело, спокойно и громко начал он говорить, что задумал дело великое, и оно превзошло его силы; но что советует победителям быть умереннее и ослабить гнет, подавляющий народ, потому что иначе, рано или поздно, снова настанет для них горький час; он указывал им на изречения книги пророков и царей, где они могут найти примеры того, как гибнут тираны, и узнать себя в этих примерах.

Затем он замолк.

Благочестивый герцог Брауншвейгский, исполняя, по своему наивному убеждению, обязанность доброго христианина, счел долгом прочитать ему отходную. Наконец прозвучали последние слова, которыми убийца провожал в могилу свою жертву, и секира пала на голову Мюнцера.

Лютер возликовал, узнав о поражении и казни Мюнцера. Реформатор мог быть спокоен; реформа его остановилась на веки на том значении, которое он придавал ей: она остановилась на полдороге, там, где он ее оставил, и эта золотая середина устояла против усилий героев, хотевших вести ее далее, ко всем ее логическим следствиям. Утописты, отщепенцы снова погибли, потерпели поражение, подверглись позорной казни. Лютер радовался их неудаче и смерти их от руки палача, считая ее позором, который навсегда запятнает их дело.

В своей ненависти к людям, доказавшим ему своей деятельностью, что реформы его ничтожны, что сам он не преобразователя общества, а жалкий член его, что истинно новые люди так же далеки от него, как и от пап, он забывал, что казнь позорит не отщепенцев, а палачей их. Тот, кто был казнен за полторы тысячи лет до Мюнцера, мог бы послужить примером всем свирепым безумцам, которые, взывая к его имени, в то же время осмеливаются презирать его заповедь: «обнаживший меч от меча и погибает», — и решаются судить о жизни и смерти подобных себе. Браги Распятого судили точно так же, как и они, во имя религии, закона, справедливости и государственной пользы. И они говорили: «пусть погибнет лучше один человек, чем из-за него погибнут тысячи», и приговорили его к позорной казни, смело восклицая в уверенности своей правоты —

“ «Кровь его на нас и на детях наших!»

Прошли века, и позор обратился в божественную славу, орудие бесчестной казни в эмблему величайшей святости, и проклята по приговору человечества память его судей и палачей. На каждом шагу все символы и священные легенды христианства твердят людям про истины, заключенные в этом примере; но люди крестятся, молятся на кресты, целуют распятие и не видят, не слышат урока, который дает им пример распятия.

Так и этот ханжа, этот изувер, этот женатый доминиканец, этот университетский папа, в своей запальчивости труса и в кровожадности лицемера, воображал, что позорная казнь может опозорить великое и славное дело. А государи и князья спешили довершить унижение побежденных. Не довольствуясь казнью демократического вождя, они яростно преследовали его помощников, товарищей и последователей. Тысячи людей погибли от разъяренных князей и дворян, которые изобретали всевозможные казни, чтобы как можно ужаснее отомстить за себя и опорочить память своих врагов. Быть может, с этой мудрою государственною целью, один благородный рыцарь решился нанести молодой беременной вдове Мюнцера то ужасное оскорбление, которое привело в негодование даже Лютера. По этому случаю в вспыльчивом реформаторе в последний раз проснулось благородное негодование, и тяжелые слова осуждения посыпались из уст его на победителей, которых он еще так недавно возбуждал к немилосердной резне народа.

«Яростные, бешеные и безумные тираны, — писал он, — не могут упиться кровью и после битвы. Они никогда не помышляли о Христе, и толковать им о нем я считаю излишним. Таким кровожадным псам все равно, кого бить, виновного или невинного, служить Богу или черту, лишь было бы кого резать; поэтому ж предоставляю учителю их, дьяволу, вести их, куда ему угодно».

«Я слышал, что в Мюльгаузене один высокородный господин призвал к себе бедную жену Мюнцера, беременную и овдовевшую, встал перед ней на колени и сказал: „милая, позволь...“ О какой благородный, рыцарский поступок! О какой смелый герой, какой неустрашимый рыцарь! Что же толковать с такими мерзавцами и свиньями! Св. Писание называет таких людей bestиями, т. е. лютыми зверями, каковы — волки, гиены, медведи и львы; стало быть, обращать их в людей мне не приходится».

Так в потоках крови было задушено последнее религиозно-политическое движение народов Европы, и так погиб последний сектатор христианства. Его смерть заставляет грустно оглянуться на весь ряд его предшественников, которые все боролись за правое и святое дело, боролись с верою и одушевлением и погибли мучительною смертью под ударами церкви и государства.

Полторы тысячи лет учение евангелия вызывало людей на бой за истину против насилия и лихоимства. Полторы тысячи лет из рядов церкви и общества беспрестанно выходят люди, отлагающиеся от них, возвращающиеся к чистоте первобытного евангелия и желающие страстно спасти общество от богохульников, гнетущих его и извращающих смысл божественного слова. В них, в этих отщепенцах, не угасает евангельская традиция. Они — верные хранители того учения, которого содержание выразилось в Нагорной проповеди. Из уст Основателя христианства раздалась речь против лихоимства и насилия. Христиане первых веков еще подражают своему учителю и развивают с кафедр евангельские истины. Святые Амвросии и Иоанны Златоусты не боятся говорить христианскую правду в глаза царям, деспотам, богачам и знатным. В соборах Византии и Медиолана, с престолов архиепископов и патриархов, раздаются громоносные обличения преступлений императоров и лихоимства высших классов.

«Таковы-то ваши благодеяния, о богачи! Вы даете меньше, чем получаете; вы грабите, даже помогая; вы извлекаете себе пользу из самой нищеты. Тот, кто платит вам лихву, находится в нужде; он должен занять у вас, чтобы расплатиться с необходимыми долгами, и остается ни с чем. А вы, милосердые люди, вы снимаете с него чужие цепи, чтобы сковать его покрепче своими! — У него нет хлеба, и он платит лихву! Есть ли что-нибудь нелепее этого? Он просит у вас лекарства, а вы даете ему яд; он просит хлеба, а вы показываете ему меч; он ищет свободы, а вы берете его в рабство; он жаждет избавления, а вы затягиваете петлю, которая его душит.

„Вы пьете, а другой плачет; вы едите, и ваша пища душит других; вы наслаждаетесь симфониями, а другой изнывает в рыданиях. Вы наживаетесь горем; вы ищете выгод в слезах; вы, считая себя богатыми, тем не менее отнимаете у бедняка его скудный заработок. Но слышали ли вы, что сказал Спаситель: горе вам, богатые; имеющие отраду. Val vobis, divitibus, qui habetis consoltdtionem!“ {18}

Вскоре церковь забыла евангелие и обратилась в язычество, т. е. стала служить насилию и проповедывать лихоимство. Но сектаторы 10 веков сряду выступали против нее и напоминали людям, что не тому учит евангелие, которому они поклоняются, не в том состоит христианство, членами которого они себя считают.

И что же? Все они умерли, кто на костре, кто на плахе, и после гибели последнего из них не являлось более сектаторов, не было более религиозных революционеров, отщепенцев во имя евангелия. По-видимому, насилие восторжествовало: палач и торгош индальгенциями сделали свое дело. Голос правды, голос Спасителя, Златоустов, Григориев и Василиев, голос Вальда и Мюнцера замолк навсегда. Неужели они боролись тщетно, умерли бесполезно? Неужели лихоимство и насилие победили действительно, окончательно, заставив навсегда замолкнуть голос правды? Неужели, наконец, все усилия, весь героизм, вся правда их были употреблены на дело, которому никогда не суждено победить, которое осуждено жизнью навеки, так что история их трудов и страданий способна только исторгнуть вопль мучительного разочарования?

Но нет, деятельность их прошла не даром! Последний из них, Мюнцер, подает свою доблестную руку, руку, ниспровергавшую алтарь и митру, ряду других отщепенцев, в которых живет вечная, бессмертная идея и которые продолжают протест во имя свободы, равенства и братства, против насилия и лихоимства. Сектаторский религиозный дух умер, конечно; но идея, жившая в нем, осталась жива и только переменила знамя. Философия заменила религию, наука — предание. Мученики религиозной борьбы могли только сказать, умирая:

“ „Поднимаем руку к небесам и клянемся: мысль наша бессмертна!“

Как пропадают верования

Близится конец царству старого учения — и настает нора глубокого равнодушия к вере отцов. Конечно, такое равнодушие нельзя еще назвать сомнением или безверием: сомневаться не думают, отрицать веры не желают, по веруют уже не по-прежнему, веруют не искренно и с увлечением, а бессознательно и по привычке. — Мертва та вера, которую поддерживает одна рутинка!

В начале, когда учение только зарождалось и распространилось, — его приняли и усвоили, потому что признали его за истину. В ту пору вера была жива и сильна: люди знали тогда, во что и чему они веруют.

Прошли века за веками, и потомство верующих стало уже веровать по преданию и привычке, мало-помалу теряя сознание и чувство заветной веры. И вот она исподволь меняет свою основу и, не опираясь более на убеждения, начинает уже покоиться на авторитете и окончательно превращается в мертвящую рутину. Передаваясь из рода в род по завещанию, старое учение постепенно искажается, утрачивает прежнее свое значение, а вера обращается в притворное чувство и сохраняется только на словах. Как ни звучны эти слова, но нет в них выражения веры, той чистосердечной и пылкой веры, которая некогда заставила людей волноваться, страдать и умирать. Старое учение еще господствует, но только по наружности; ему следуют, но уже без веры в его истину. Вот почему оно неизбежно извращается и разлагается, наконец, в бессмыслицу, на которую перестают даже обращать внимание.

Такое тупое равнодушие к заповедному учению не может, впрочем, долго продолжаться. Рано или поздно, в среде того самого общества, которое не верует искренно, а живет только суеверными привычками, появляются люди с пытливым умом и с чувством правды. Для них немислима вера без убеждения и противен им разлад слова с делом. С невольным отвращением смотрят они на бессмыслие и лицемерие толпы, которая притворяется, будто бы во что-то верует и чему-то поклоняется. Совесть их возмущается при виде этого повального нравственного разврата, и в уме их зарождается тяжелое сомнение в истине веры, которая на практике обратилась в пошлую обрядность и позорное шутовство. Это сомнение совершенно законно и разумно. Мало того: умные и совестливые люди, которые презирают подложное чувство веры и видят в нем разврат мысли, вовсе не думают сперва посягать на самую веру или отрицать учение, которое ее вызвало. Нет, они желают только разгадать истинный смысл этого учения и оправдать его правила своим разумом, с целью веровать не слепо, а с убеждением.

Напрасное желание! — Века изуверства и лицемерия так исказили смысл господствующего учения, что оно бессильно уже воскресить в сердцах погибшую веру и рассеять сомнения. В нем была правда и правдой держалось оно время, пока шла борьба за его существование.

Борьба кончалась торжеством; победители отпраздновали свою победу и, вскоре затем, впали в то спокойное, равнодушное состояние, которого не знали прежде, когда боролись за свое правое дело, за веру и убеждения. Как сперва борьбой укреплялось новое учение, так потом победой ослабилось его значение, потому что бойцы охладели к нему и перестали им увлекаться. С этой самой поры гаснет вера, а с нею вместе и сознание ее смысла. Начиная с того, что самое учение о вере теряет свой отрицательный характер, получает догматический тон и заключается в узкие формы, в виде правил, наставлений, молитв, которые заучиваются и повторяются потом уже бессознательно. Таким образом, все более и более позабывается настоящий смысл общепринятого учения и тем дается возможность произвольно искажать его формы и практическое значение. И вот эгоизм и невежество обезображивают его окончательно так, что оно делается сводом самых изуверских правил, вопиющих противоречий и нелепостей, в которых нет даже тени здравого смысла. Властолюбие, своекорыстие, лицемерие, тупоумие, короче, все, что позорит и унижает человека, возводится уже в добродетель и мудрость того учения, которое возникло для борьбы с насилием, грабежом и всякою неправдой.

Понятно, что в таком безобразном и развратном виде старое учение не может возбуждать в честном и умном человеке ничего, кроме чувства отвращения. Вот почему люди, которые начинают добросовестно изучать влияние правил веры, обращенной в практику лжи, обмана и насилия, скоро кончают тем, что отрекаются от нее навсегда. Совесть и разум заставляют их не верить тому, что ложно, и не уважать того, что достойно презрения. С этой поры, освобождаясь умственно и нравственно от деспотизма старого учения, они проникаются новыми, светлыми убеждениями и чувствами. В них загорается пламень иной веры, веры в правду своего отрицания господствующего учения. Такая вера жива, потому что сознательна, жива, потому что выражает собой пробуждение человеческого разума после вековой дремоты; она жива, потому что увлекает и оживляет тех, кто ее чувствует впервые; она жива, наконец, потому что в ней залог революции, которая должна вызвать общество к новой, честной жизни.

И вот, в порыве страстного увлечения, отрицатели подложной веры громко заявляют свое отречение и взывают к здравому смыслу и совести общества. В этих живых и честных людях нет уже того благоразумия или, говоря вернее, того малодушия и лицемерия, которое боится правды и старается скрывать ее под разными предлогами. Кто верует в правоту своего дела, кто убежден в могуществе своей идеи и проникнут ею до мозга костей, тот не знает страха и говорит по совести все, что чувствует. Вот почему, без расчета и тайного умысла, отрицатели отважно провозглашают, что старое учение ложно, и обращаются к обществу с сильною, выразительною речью, в которой так и звучат слова давно забытой, но вечно сущей правды. С этой торжественной минуты во всех слоях общества проявляется какое-то тревожно-томительное настроение, и вскоре вспыхивает ужасная борьба.

Погруженное в спячку общество вздрагивает, пробуждается, начинает прислушиваться к голосу новых пророков и, оглядываясь на себя, замечает, что оно или ни во что не верует, или верует, само не зная чему. Закрадывается сомнение в умы людей, привыкших верить на слово, и в умы людей, которые никогда не проверяли своих понятий и взглядов, а действовали всегда слепо, повинувшись рутине. Смутно и медленно проникает в такие умы первое, неотразимое сомнение во истине старого учения. Хотя общественный разум и готов

потом отказаться от него, но зараза привычной апатии так еще сильна, что масса людей не скоро решается на прямое и откровенное отрицание своего прошлого.

Вот почему, не смотря на свое пробуждение от умственной дремоты, общество не вдруг поддается обаянию новых, оживляющих идей и как будто выжидает той минуты, когда разыграются страсти и завяжется борьба интересов.

Совсем иное происходит в среде партии, которая управляла и жила во имя старого учения. Люди этой партии давно уже привыкли к безмятежному владычеству и потому перестали помышлять о возможности опасного для них переворота. Но вот, почуввав неожиданно грозящую беду, они протирают глаза и готовятся встретить врага в полном вооружении. Что же, однако, оказывается? — Самозванные защитники старого учения давно уже забыли смысл его и не знают, как и почему утвердилось оно и стало господствовать над умами. Они помнят только то, что сумели воспользоваться правилами этого учения для достижения своих целей и обратили его в оружие обмана и насилия. Таким образом, когда настает пора обличений, когда общество обращает внимание на партию властвующих консерваторов, — они не могут прямо оправдаться и чувствуют, что кругом и под ногами все колеблется, шатается и разваливается. Они видят, конечно, что в обществе происходит, едкое-то небывалое брожение; они сознают также, что приходится защищать старое учение, в котором начинают сомневаться, считая его подложным. Что делать? Так или иначе, консерваторы должны доказать обществу, на каком основании признают они свое учение разумным и справедливым, и почему не следует его отрицать.

Нет, старая партия вовсе не думает сначала доказывать правды существующего учения, потому что сама не понимает его истинного смысла и сама не верует в него, И что может доказать она? Разве только то, что отжившее учение держится обычаем и преданием! Но такое доказательство нелепо и неуместно, когда общество желает стряхнуть с себя вековую рутину и жить новыми понятиями и чувствами, которые начинают уже волновать его. Это настроение умов более всего беспокоит консерваторов. Не задумываясь долго, они решаются подавить в зародыше новые идеи и потому обращают всю свою злобу на виновников умственного движения, то есть на отрицателей старого, извращенного учения.

Смелость этих свободных мыслителей так сильно раздражает слепых защитников рутины, что, не задумываясь долго, они решаются преследовать их и убивать, как опасных врагов. — Так начинается первая борьба; с одной стороны — разумное отрицание неправды и чисто нравственная сила убеждения, а с другой — вооруженная власть и грубое насилие во всем его безобразии.

Кровь первых мучеников свободы слова не пропадает, однако, даром: она смывает толстый слой нравственной грязи, под которым гноилось общество, и в нем воскресает чувство правды, проявляется сострадание к жертвам насилия и закипает ненависть к палачам. Осуждать и казнить людей за то, что они откровенно высказывают свои задушевные мысли, свои честные и разумные убеждения — разве это не вопиющее беззаконие и зверство? — спрашивает общество, и совесть его возмущается, и в голосе его слышится проклятие убийцам. С минуты на минуту разгорается сочувствие к осужденным и гонимым, а мысли и убеждения их, освященные кровью, проникают в общественное сознание и находят жарких

последователей.

Таким образом, чем сильнее и упорнее преследуются новые идеи, тем скорее и глубже укореняются они в обществе и тем живее выражается его отвращение к старым понятиям и обычаям, во имя которых казнится все новое, разумное и свободное. Как ни сильна рутина, но она не может никогда сковать разума и воли людей так, чтобы они не поддавались обаянию новизны и не желали дышать свежим воздухом свободы и правды. Как ни продолжителен и глубок тот сон, в который погружается общество, под одуряющим влиянием рутины, тем не менее не может оно спать вечно и, рано или поздно, должно очнуться, пробудиться, ожить. Но жизнь невозможна для людей без сознания, без мысли и постоянного ее развития. Поэтому, чем больше новых и свежих идей появляется в обществе, тем лучше оно пользуется жизнью и тем быстрее развивается.

Запивая свою злобу горячей кровью свободных мыслителей, фарисеи старого учения с досадой замечают, что общество начинает их ненавидеть и грозит от них отложиться. С этой поры они решаются действовать осторожнее и стараются избегать возмутительных казней, чтобы не возбуждать общего негодования. При всем том, проповедь отрицателей не умолкает, и враги их волей-неволей принуждены отстаивать свое постыдное дело. И вот они начинают сами обращаться к общественному мнению и представляют на суд его правила того учения, которое исказили по-своему и требовали, чтобы его признавали и почитали без рассуждения.

Но в этой новой борьбе с отрицателями кровожадные и лицемерные консерваторы обнаруживают жалкое бессилие. Начиная с того, что самое условие борьбы ставит их в невыгодное положение: вступая в спор с противниками, которые не защищаются, а только нападают, им приходится выставлять на вид безобразное противоречие своего учения и оправдывать все, что ложно и подложно, что подло и нелепо. Настоящий, первобытный смысл этого учения так гнусно извращен веками изуверства и лицемерия, что защищать его в таком отвратительном виде — значит доказывать крайнюю глупость или подлость. Что же остается делать староверам, которые сами не веруют в свое учение, сами не отдают себе ясного отчета в нем, а тем не менее должны отражать нападение людей отрицания и критики? Неужели они будут так честны и разумны, что согласятся признать себя побежденными и, не продолжая спора, объявят, что старое учение утратило свой прежний смысл, исказилось в руках лжецов и плутов и стало орудием обмана и насилия? Неужели они пожелают очистить свою совесть искреним покаянием и скажут, что сами были лжецами, мошенниками, грабителями?

О нет! Не о покаянии думают бессовестные поборники старого учения, которым так долго и выгодно пользовались. Они думают о том, как известить и уничтожить отрицателей, смело срывающих с них маску веры. И вот, в то самое время, когда отщепенцы позорной рутины обличают ее неправду и вызывают к себе сочувствие здравомыслящих и честных людей, — неисправимые консерваторы пускаются на разные выдумки, чтобы оболгать, оклеветать и унижить своих врагов в общественном мнении. Они сознают, что не в силах бороться с ними одинаковым оружием и защищать правила своей бесчестной жизни. Они уверены заранее, что всякое оправдание с их стороны невозможно, что всякое их объяснение будет смешно и нелепо, и потому решаются бесцеремонно клеветать на отрицателей и оскорблять их, в

ожидании удобного случая для кровавой мести.

Между тем общество, заинтересованное борьбою старой и новой партии, видит, что защитники рутины не рассуждают, а только бешутся от злости. Это еще более заставляет его ненавидеть их, как палачей, и презирать, как низких клеветников. И чем более пытаются они унижать отрицателей, тем сами ниже надают в общем мнении и доводят себя, наконец, до такого постыдного положения, что над ними начинают смеяться, как над забавными шутами.

Так настает пора насмешек над рутиной и над всеми, кто не отказывается от старых понятий и верований. Здравый смысл торжествует, и отрицательное направление мысли делается господствующим.

Опозоренные и осмеянные консерваторы смолкают. Но сдавленная злоба кипит в их сердце. Проходит еще несколько времени — и успех отрицания вызывает заклятых врагов его на отчаянную месть. Дело в том, что в обществе, разделенном на враждебные сословия, развращенном постоянной борьбою интересов и запуганном грубою силой, в таком обществе не может скоро укорениться отрицательное направление, которое требует свободы и только свободы. Поборники рабства и застоя понимают это хорошо и потому, отдавая невольную дань отрицанию, которому поддается общество в минуту своего пробуждения, не теряют надежды одержать, рано или поздно, решительную победу. Избирая удобный случай, они начинают разжигать личный эгоизм, возбуждать повальный страх и действовать вообще на грязные интересы людей, извлекающих какую-нибудь пользу из общественной неправды. Они жалостно проповедуют, что отрицание старого учения и вообще всей рутины грозит бедой всему обществу; что с уничтожением заветных верований и правил жизни падет и та власть, которая их сохраняет и поддерживает; что с упадком власти исчезнет всякий порядок и сила перейдет в руки опасных честолюбцев, которые не замедлят перестроить общество в свою пользу. Короче, расчетливые защитники рутины уверяют, что революция идей, вызванная отрицанием, повлечет за собою страшный, материальный переворот и нарушит все господствующие интересы.

Коварные наущения консерваторов достигают своей цели — и в среде общества раздается протест против „опасного отрицания“. Протестует, конечно, та часть общества, которая живет неправдой, наслаждается всеми благами жизни на счет угнетенных и ограбленных и потому более всего опасается потерять выгоды своего положения. В этой шайке развратных, тунеядных и своекорыстных людей, восстающих против отрицания, развивается отчаянная трусость и подлость. Один лишь страх, одна лишь забота во что бы то ни стало спасти свои бесчестные интересы связывают таких людей и заставляют их действовать сообща против отрицателей. В этой стачке интересов, в этом союзе малодушных негодяев заглушается всякое нравственное чувство и гаснет последняя искра совести и веры. И что же? Подобный заговор подлости прикрывается маской „благонамеренности“, и сообщники бесчестья, помышляя о своих интересах, нагло уверяют, будто желают поддержать нравственность, религию, право собственности и законный порядок. Разврат мысли и чувства доводит их до того, что они осмеливаются даже утверждать, будто грязное их дело — общее, народное дело!

Лицемерие, коварство, подлый страх, своекорыстие, властолюбие, желание обеспечить свое господство — все это придает партии старого порядка силу страшную и тем более опасную, что отрицатели, полагаясь на сочувствие общества, презирают своего врага и считают его побежденным. Действительно: представители рутины потерпели поражение и дело их пропало в общественном мнении. Но они удержали, однако, прежнее свое положение и, не смотря на потерю нравственной силы, сохраняют еще материальную, которой недостает отрицателям. Мало того: консерваторы, пользуясь властью, несравненно сильнее своих противников тем, что составляют огромную и плотную шайку опытных, практических и ловких заговорщиков, которые действуют под влиянием страха и с одной только целью спасения своих интересов. Что же касается отрицателей, то между ними нет прочного союза и, сперва нападав сообща на старый порядок, они разделяются потом на отдельные партии и секты, которые взаимно ослабляются разногласием и спором. Завязывается междуособная распря: каждая секта выдумывает свои догматы, выставляет своих учителей и проповедников, старается увеличить число своих последователей и добивается исключительного господства.

Так исчезает прежнее единство отрицательного направления и развивается раскол в среде людей, которые так мужественно и единодушно начали борьбу против старого учения и его правил.

А между тем общество, которое не принимало еще прямого и решительного участия в этой борьбе, продолжает сочувствовать отрицателям. Оно видит в них провозвестников правды и сознает ложь существующего порядка, основанного на извращенном учении и подложной вере. Никто уже не уважает этого порядка и не доверяет его защитникам. Но, при всем том, что общество склоняется на сторону новой партии, которая доказала ему нелепость и гнусность рутины, оно невольно смущается, замечая явное разногласие между отрицателями. Не они ли с таким самоотвержением и бескорыстием боролись за правду своего отрицания? Не они ли так единомысленно осуждали практику лицемеров и бессовестных ханжей! Не они ли так увлекательно и правдиво обличали пагубную вражду личных и сословных интересов! И что же? Вот они ведут между собою догматические споры и сами отрицают свое отрицательное направление, сами хотят сделаться практиками и потому соперничают друг с другом лицемерием, честолюбием и своекорыстием. Куда девалось прежнее единодушие? Чем кончилась проповедь отрицания? Где вера в его несокрушимую силу? Такими вопросами задается общество, глядя на печальный разлад, который побуждает отрицателей чуждаться и даже ненавидеть друг друга в виду общего врага.

Консерваторы торжествуют. В свою очередь, они нападают то на тех, то на других противников существующего порядка, осуждают и осмеивают их учение, выставляют на вид их противоречия и обвиняют в злонамеренности, недобросовестности, своекорыстии, короче — во всех пороках, в которых обвинялись сами. „Вот какие люди желали стать во главе общества! Вот какие эгоисты и честолюбцы притворялись праведниками и, обманывая легковверных и недалководидных, пытались подорвать доверие и уважение к законной власти и тому учению, которое она защищает для общего блага и спокойствия!“ — Так с поддельным увлечением ораторствуют консерваторы и укоряют общество за то, что оно поддавалось обольщению отрицателей, поверило их речам и правоте их дела.

Обществом овладевает, наконец, страшное разочарование. Кругом себя оно видит одних только обманщиков, которые пользуются его легкомыслием и умышленно сбивают его с толку. И вот, отчаиваясь в истине, оно приходит к тому убеждению, что свобода, равенство, справедливость, нравственность, вера, — все это пустые слова, которыми не следует увлекаться, чтобы не сделаться игрушкой в руках отъявленных плутов и лицемеров. „Нельзя верить ничему; все вздор, все обман!“ — говорят люди, которые еще недавно верили, что есть правда и что ее следует защищать, во всяком случае и без всякой задней мысли! — Таким-то образом остывает в сердцах малодушных и вообще забитых людей тот священный жар, который поддерживает страсть и силу убеждения. Пропадает увлечение правдой, и развращается разум и воля: честные и высокие мысли сменяются своекорыстными, низкими расчетами, и личный интерес делается единственным правилом жизни. Вся мудрость заключается уже в том, чтобы заботиться только о себе, жить и промышлять для себя, а об остальном не думать.

Не волнуется общество, не стремится выйти из заколдованного круга обычной рутины и равнодушно смотрит на свое безобразное положение. — Вот чего желали всегда и добивались защитники старого порядка. И теперь, когда общество опять засыпает, они не стараются господствовать над ним нравственно, не заискивают его уважения, доверия или даже расположения; еще менее того желают они обратить его на путь истины, добра и счастья. Общество равнодушествует — и консерваторы довольны; они убеждены в своей силе и знают, что могут пользоваться ею совершенно безнаказанно, могут делать все, что им вздумается, не встречая опасного сопротивления. Общество равнодушествует — и отрицатели не подозревают этого: они уверены еще, что враги не посмеют напасть на них по-прежнему, и надеются, что общественное мнение всегда поддержит их в минуту опасности и спасет от преследования. Они жестоко ошибаются: нет им спасения.

Готовится страшная развязка.

Глядите! — Вот они, гнусные консерваторы, собираются с силами, тайно сговариваются, потом осматриваются кругом и, убеждаясь окончательно, что общество погружено в глубокий сон, внезапно бросаются вдруг на свою жертву и с наслаждением мучат, терзают и душат ее. В этих убийцах по ремеслу пропадает даже сознание того, что они творят: жажда мести безумит их, а воспоминание о позоре и опасности, которой они подвергались, разжигает страсть палачества, страсть необузданную и зверскую. Кровью несчастных и безоружных противников своих тушат они ненасытный пламень злобы, а на трупах празднуют победу и провозглашают тост в честь деспотизма, который отныне должен упрочить их подлое беззаконие, прославить их позор и преступления.

И вот торжествующие палачи спешат облечь в законную форму свое систематическое злодейство и свой заговор против правды. Наученные опытом, они заботятся прежде всего о том, чтобы убить в обществе тот роковой дух отрицания, который напугал их, чтобы истребить окончательно то семя святой правды, которая дает плоды, отравляющие подлецов.

Замыслы консерваторов приводятся в исполнение — и наступает ужасная пора. В общественной жизни исчезает все, что может напомнить о человеческом достоинстве... Нет

более ни убеждений, ни верований, не совести, ни даже стыда: люди обращаются в отвратительных гадов, которые извиваются и ползают в ногах властей и не смеют поднять голов своих. На лбу кровожадных консерваторов красуется клеймо их преступлений, в улыбке их выражается удовлетворенное чувство мести, а в глазах сверкает, как и прежде, зверская неугасимая ярость. Эти чудовищные натуры, эти нравственные уроды не ограничиваются тем, что обращают самих себя в диких зверей; нет, они воспитывают еще, по своему подобию, особую породу вредных животных, под названием „практических“ людей, которые исполняют их волю и делаются слепыми орудиями деспотизма. Все удастся консерваторам, даже выделка подлецов!

И вот размножается в обществе класс отчаянных негодяев, для которых нет ничего святого: они готовы на всякий бесчестный поступок, на всякое преступление по одному лишь знаку своих господ, которые нанимают их и содержат на счет общества. Таким образом, в распоряжение консерваторов поступает огромная армия сыщиков, шпионов и всяких мерзавцев, которые обязаны знать и сообщать властям все, что делается в обществе. Эта армия получает правильную организацию и пользуется особенным расположением поборников старого порядка, потому что они считают ее надежным оплотом своего могущества и рычагом своей власти.

Понятно, что в обществе, в котором утверждается царство таких гадов, пропадает даже тень гражданской свободы и, кроме консерваторов и наушников их, каждый носит намордник и ходит на уздечке под плетью. Никто не смеет открыть рта и высказать мнения, которое не нравится партии старого порядка. Приверженцы этой партии не признают за обществом никаких прав; их надо считать не членами его, а извергами, живущими не по-человечески, а по зверскому инстинкту, который побуждает их предаваться грабежу и насилию.

Что остается делать в обществе, которое управляется такими хищниками? Чего можно, наконец, ожидать от общества, которое бесстрастно позволяет преследовать и казнить людей за убеждения, верования и за свободное их выражение? Погибли отрицатели, бойцы за правду, погибли на глазах общества, и оно не только равнодушно смотрело на их гибель, но даже само отдалось потом в руки палачей свободной мысли, которые стали насиловать и развращать его более прежнего!

Да, страшно жить в таком обществе, где честному человеку нет другого исхода, кроме самоубийства или позорной казни!

Да, страшно жить в таком обществе, где приходится терять веру в достоинство человеческой природы и отчаиваться в правде людской!

Еще страшнее заживо хоронить себя в подобном обществе, подчиняясь подлым правилам его обычной жизни!

Но нет, нет! — да не клянет честный человек судьбы своей. Всеу есть мера: почему не быть и мере подлости и позора?! Как низко не падало бы и ни развращалось общество, как бы оно ни топтало правды, но дойдет же, наконец, повальный разврат до своего крайнего предела

и подымется же правда, подымется и восстанет она во всем своем величии, во всей своей святости и силе! Мужайтесь, добрые люди, если в вас тлеется еще искра веры в совесть человека, веры в его будущее искупление от нравственного падения. Вы видите, что общество пало и лежит во прахе. Не смущайтесь, не падайте духом: общество пало, это правда; но оно лежит не в прахе, а только в обмороке, который может, конечно, продолжаться долго, очень долго, и все-таки не бесконечно, не вечно. Этот обморок сулит не смерть, а воскресение, возрождение к новой, лучшей жизни. Будьте уверены, что в те самые минуты, когда вы с отчаянием глядите на замирание общества, человеческая природа делает над собою страшное усилие, чтобы не пасть окончательно, и это усилие не напрасно. Знайте, что оно воскрешает общество и заставляет развиваться в нем семенам будущей жизни, и эта жизнь зарождается в среде видимого гниения и разложения.

Отрицатели погибли под ударами неумолимых защитников старого порядка, погибли, потому что желали оживить общество, которое враги их осуждали на смерть. Но не погибло то дело, которому они служили. Не даром они жили в обществе, не даром и пожертвовали собою: они нанесли смертельный удар царству старого порядка, царству лжи и насилия. Защитники этого порядка знают теперь, что они держатся только грубою силой, без всякой надежды поддержать себя нравственно и снискать уважение и доверие общества. Они знают это и давят, давят людей, пока не подавятся своим позором, пока не переполнят меры общественного презрения и ненависти. Они знают также, что, не смотря на все гонения и казни, в обществе живет и бодрствует дух отрицания, который грозит им неотразимой бедой.

Ложь старого учения доказана. В среде того же общества, которое будто подчиняется еще правилам этого учения, а в действительности в него не верует, зарождается новая вера, вера в человека, в его совесть, в его разум и в его будущность. Новые люди лелеют и воспитывают в себе и других эту новую, животворящую веру и на ней покоят все свои нужды. И люди эти являлись уже и продолжают являться все чаще и чаще в среде общества, и в их честных руках его спасение и будущее счастье. И люди эти всегда были и будут апостолами и учителями общества, потому что отличаются искренностью и смелостью убеждения, чистотою своих намерений и презирают пошлость практической жизни и отрицают ее неправду и разврат. Они понимают смысл прошедшей жизни народов, знают, во что прежде веровали и почему теперь практические мудрецы, кроме своего интереса, ни чему не верят.

Таким образом люди новой веры сознают свое призвание и чувствуют свое нравственное отчуждение от старого мира лжи, безверия и подлости. Мало того: они сознают уже то, чего не сознавали отцы их, чего не хотят и даже не могут сознать развращенные тираны: они сознают смысл и назначение революции, потому что носят ее в мозгу и в сердце своем, потому что выражают ее словами и делами.

Старые отрицатели только прозревали революцию и угадывали ее цель. Но им не суждено было предвидеть тех благоденствий, которые обещает человечеству грядущая революция. Им не суждено было понять этого, потому что приходилось бороться с неправдой учения, обращенного в практику грабежа и насилия. Пока длилась эта борьба с переменным счастьем, пока надо было отрицать старую веру и не было времени еще создать новую, до

тех пор революция, конечно, оставалась загадкой. Ее могли предчувствовать, но не сознавать и не чувствовать. Притом религиозные вопросы так сильно поглощали внимание прежних отрицателей, христиан и сектаторов, что они поневоле должны были упускать из вида вопросы политические и социальные, которыми только и живут революционеры конца XVIII и XIX веков.

Живой о живом и думай! Отщепенцы, люди живые, отрицающие мертвечину старого общества, веруя непоколебимо в будущее, с чувством непритворного горя, близкого к отчаянию, смотрят на бедствия самого многочисленного и бедного класса людей, на бедствия и страдания рабочего народа. И вот, желая всеми силами разума и волн облегчить его жалкую участь, они вступают в борьбу с его вечными и неизменными врагами, с тунеядцами, лихоимцами и палачами. Этой борьбе они, бесстрашные отрицатели, философы, революционеры, посвящают свою жизнь и готовы жертвовать ею, даже без надежды помочь своим самоотвержением. Тем не менее они не отчаиваются в своем деле и, умирая, завещают свое дело народного спасения всякому честному человеку, который одарен светлым умом, добрым сердцем и верует в непобедимую силу революции. Такой человек и с такою верою, становясь в ряды защитников народа, делается олицетворением самой правды: она говорит его словами, заявляется его делами, повелевает его волей. Такой человек живет уже не для себя, а для правды, которую мыслит, дышит и наслаждается. Он пророчит во имя спасения народа от грабежа и насилия; он умирает во имя ее с верою в это неизбежное спасение. Другими словами: он — пророк и, если придется, будет мучеником новой веры.

Так умирают старые верования; так кончаются старые порядки и так, на развалинах их, восходит лучезарное светило новой веры!

IV. УТОПИСТЫ

В то время, когда умолкал протест во имя религии, явились люди, протестовавшие против организованного грабежа во имя философии. Их называли «утопистами», но примеру первого из них, назвавшего свой общественный идеал: «Утопия». Но они были отщепенцами, подобно христианам и сектаторам, и судьбы их совершенно схожи. Эти благородные мыслители, подобно христианам и еретикам, смело указывали на порочность общественных учреждений и возвышали голос в защиту поправленных прав. Презрение, насмешки и гонения были обыною данью благодарности за их великодушную смелость; но они не боялись их и рисковали всем, защищая дело слабых, бедных и угнетенных. Эти независимые характеры не увлекаются жалким желанием играть роль в общество лихоимцев и грабителей. Интересы этого общества чужды им, и они, не обращая внимания на презренные передраги плутов и тиранов, ревностно трудятся, отыскивая истину и обличая неправду. Они не хотят вдаваться в бесконечный лабиринт интриг, в котором самодовольно пребывают их современники. Они видят бессодержательность и ничтожность всех этих хлопот и поползновений, презирают те измышления житейских мудрецов, которыми общество гордится и которым оно радуется, и умирают, не дождавшись не только признания смелых истин, поведенных ими миру, но даже прощения себе за провозглашение этих истин.

Таковы были Мор, Кампанелла [135], Морелли [136], Мабли [137], словом, все авторы социальных утопий, как Утопия Мора, как Атлантида Бэкона [138], как Океания Гаррингтона [139], как Город Солнца Кампанеллы, как Базилиада Морелли. Все эти идеалы счастья были осуждены практическими мудрецами, которые называют их бреднями и химерами и только в припадке великодушия решаются признать их мечтами честных сердец.

Конечно, планы утопистов остались неосуществленными, тогда как практика их противников существует доселе. Тем не менее в их мечтах гораздо больше здравого смысла, чем в нелепой практике современных им обществ. Дело, конечно, не в частностях и подробностях их социального идеала, а в общем и существенном характере его. Сущность их утопий состоит в том, что они желали человеческому обществу мира, спокойствия, равенства, отношений братских, нравственных, дружелюбных, что они желали исключить из этих отношений всякого рода несправедливость, всякую эксплуатацию одного другим, всякое насилие, всякий грабеж, всякого рода вражду и страдания. Разве это так безумно? Но чего же желают, по крайней мере на словах, все законодатели, все правители, все практические деятели? Разве они сознаются всенародно, что желают упрочить несправедливость, утвердить насилие, поощрить лихоимство, водворить навеки анархию и войну?

Правда, законы их часто громко свидетельствуют, что действительно такова их цель. Огромное большинство положений всех законодательств клонится единственно к тому, чтобы сверху и донизу, снизу доверху организовать и упрочить насилие и лихоимство.

Законы освящают всевозможную эксплуатацию и всевозможный деспотизм — отцовскую власть, рабство женщины, нищету и зависимость бедняка, безнаказанность барышника, произвол тирана, бесгласность угнетенных. Они дают санкцию всякому насилию и лишают насилюемых всякой возможности сбросить иго. Они признают преступлением свободную речь против грабежа, врожденное стремление человека к независимости, даже самые мирные попытки бедняков выйти из-под ига ростовщиков. Их уголовная юстиция — вечное осадное положение общества; их иерархический порядок — идеал, утопия эксплуатации и рабства; их теория государства — пасквиль на человечество и провозглашение безвыходности анархического состояния общества.

Все это так. Но, к чести человечества, насилие и лихоимство, защищаемые на практике, в теории отрицаются самими разбойниками и ростовщиками. Не было примера, чтобы законодатель объявил прямо своею целью учредить несправедливость и анархию. Были законы, кровавыми мерами защищавшие лихву; были законодательства, признававшие справедливыми рабство, нищету и всякое неравенство. И многое, что ужасает нас в законах Ману [140] и Двенадцати Таблиц, живет еще полною жизнью в современных кодексах. Но даже все это делалось и делается во имя справедливости и общественной пользы, которые всегда признаются целью и идеалом всякого законного порядка.

Итак, сущность общественного порядка утопистов не имеет в себе ничего такого, что не признавалось бы и людьми практической мудрости. Почему же последние относятся к ним с таким пренебрежением? В чем же заключается, по их мнению, их превосходство над этими мечтателями? Что же такое та практическая мудрость их, с которой они носятся, как курица с яйцом, тыча ею в глаза всем, кто осмеливается осуждать их муравейник, в котором они копошатся в вечной борьбе друг с другом, среди вопиющих несправедливостей и безвыходных страданий? Неужели в том, что утописты желают осуществления своего идеала, а практики полагают, что принципы и идеалы — вещь хорошая сама по себе, по жизнь людей должна идти своей колеей без всякого отношения к ним?

Да, главная вина, главная нелепость утопистов, в глазах практиков, — их последовательность, их убеждение, что принципы должны быть слиты с фактами, что теория и жизнь не могут противоречить друг другу. Практика состоит, следовательно, в постоянном противоречии своим принципам, в бесконечном ряде соглашений со всевозможными встречающимися по пути условиями, в осуждении себя на деятельность, заведомо ложную в теории, в самоотречении, в самоунижении, в нравственном самоубийстве. Какая мудрость!

Практические мудрецы, насмехаясь над их утопиями, забывают, какое позорное поражение претерпевали всегда их собственные мудрые и практические планы социального устройства.

Что случилось с вашими монархиями, республиками, союзами, империями, конституциями? Сколько было у вас споров насчет лучшего политического устройства! Сколько раз каждая из споривших партий имела случай доказать на опыте превосходство своей системы! И что же? Выдержало ли хоть одно из ваших практических изобретений опыт времени? Республиканцы! где ваш идеал? Что случилось с вашими Афинами и Римами, Венециями и

Флоренциями? Монархисты! чем кончили ваши всемирные монархии, ваши мечты всеобщего мира под сильной рукой единого главы? Вот вы, практические мудрецы, и пренебрегаете утопиями отщепенцев, но что же такое ваши-то построения, что же такое ваши создания?

Макиавелли показал вам, что это такое. Напрасно триста лет прикидываетесь вы не понимающими его; напрасно клеветаете на него и с серьезным видом пишете на него глубокомысленные возражения, называя его именем злоупотребления и дурные крайности своих систем. Все это напрасно: история, опыт жизни научили народы понимать и его, и вас. Теперь все знают, что в своей злой сатире он хотел только показать, чем должны вы быть ради последовательности и чем непременно бываете во имя законов логики. Он показал, что ваши монархии и республики не что иное, как заговоры меньшинства против большинства; что заговоры могут удаваться на время, но что, рано или поздно, обманутые массы просыпаются; что таким образом ваши государства, продержавшись несколько времени путем всевозможных злодейств, неизбежно кончают падением; что, наконец, поэтому вы нелепы и смешны с вашими практическими затеями, которые вы в глупом самообольщении называете «вечными», «божественными», «всемирными» и которые на самом деле осуждены на неизбежную гибель, не нынче, так завтра, смотря по тому, насколько будет велика смелость преступления и непреклонность жестокости.

Скажите практическому мудрецу: что, по-твоему, лучше: постоянная борьба каждого против всех, то состояние, где homo hominis — lupus, где каждый скалит зубы на другого и дрожит за выкраденный кусок; где никто о других знать не хочет и, пока сыт, не обращает внимания на умирающих с голоду, зная, несчастный, что, может быть, завтра настанет день, когда он будет голоден, когда ему придется тщетно умолять о сострадании, когда другие пойдут, сытые и довольные, мимо него, не обращая внимания на его страдания: — то состояние, где каждый хлопочет только о себе, нынче насытиться и как можно больше поотнимать у других, чтобы иметь запас «на черный день», где все ненавидят и боятся друг друга; или то, где господствуют братство, солидарность, взаимность, обеспечение? Конечно, скажет он, — второе. Ну, так хлопочи же создать равенство, обуздать хищников, словом, вывести людей, в том числе и себя, из первого состояния во второе, из-под египетского ига с его страшными язвами в землю обетованную. Если ты все это понимаешь, то бери же знамя свободы и равенства и иди, и веди за собой. Почему останавливаешься ты на пути перед золотым тельцом? Почему забываешь и цель свою, и призвание, как скоро на дороге натыкаешься на жирную поживу, и над ней, забыв свои идеалы, забыв счастье, ожидающее тебя впереди, спешишь нажраться и издыхаешь от алчного обжорства в виду пределов ханаанских? Или ты не веришь сам в свой идеал? Но посмотри же на все чудеса, которые тебя окружают! Взгляни на светлый столб прогресса, указывающий тебе путь! Посмотри, как под чудотворным действием взаимности и соединенных усилий людей, связанных солидарностью, камни истачивали воду, побеждались гады, священный огонь пожирал нечестивых, падала с небес манна, словом, побеждалась человеком природа на каждом шагу, который человечеству приходилось делать в печальной степи, где оно бредет еще доныне! Взгляни же на эти чудеса и поверь, поверь, что впереди предстоят еще большие победы над условиями природы, что взаимность, солидарность и труд дадут человечеству многие, еще более славные торжества над грубыми силами материального мира и ослепленных невежеством людских страстей!

Все это так, ответит мудрец; но это невозможно. Конечно, братство, мир и свобода — вечные и справедливые идеалы человечества. Но они неосуществимы, по крайней мере при нынешних условиях (так говорит он и в древнем Гиме, и в X, и в XVI, и в XIX веках христианства). При настоящих условиях остается только организовать насилие, возводить лихоимство в систему и придумывать разные казни, чтобы устрашать грабителей, желающих грабить не по системе, признаваемой обществом, а по-своему, и чтобы поддержать ту систематическую анархию, которую мы принуждены считать порядком, за невозможностью иметь истинный порядок.

Вот на что сводится защита современного общества практическими мудрецами! И прикрывшись этими жалкими софизмами, они влачат общество по бедственному пути насилия и лихоимства, взывая, как бы в насмешку над собой, к идеалу братства и свободы. Так живут они в непроходимом болоте разных практических гадостей и не смеют сделать ни малейшего усилия вылезти из него ни в общественных вопросах, ни в своей частной деятельности, ни взяться за перестройку общества, ни за переделку своего личного положения. И эти-то бессильные карлы, эти жалкие воины дела, осужденного ими самими, эти несчастные глупцы, обрекшие себя вечно пресмыкаться в грязи данных общественных условий, считают себя истинными житейскими мудрецами и называют нелепостью всякое желание дать в жизни место идеалам счастья!

В утопиях отщепенцев, конечно, много фантастического, мечтательного, ошибочного. Но надо помнить, что они писали не конституции государств, подобно практическим мудрецам и мерзавцам, а только приблизительный очерк того состояния, к которому может подойти человечество, отказавшись идти путем насилия и невежества и вступив на путь братства и разума.

Вслед за этими врагами правды и другие бессмысленно повторяют их нелепые выходки против утопистов. Но что сказали бы они, если механик стал утверждать, что нельзя на практике устроить колеса, что теория чистой математики — утопия, потому что в природе не может быть математического круга? Что сказали бы они, если бы оптик отказался делать оптические стекла, обвиняя теорию в нелепости, потому что нельзя уничтожить аберрацию? Что сказали бы они, если бы купец обвинял покупателя в делании фальшивой монеты за то, что в червонце, который он ему дал, есть лигатура? А между тем они сами рассуждают точно таким образом. Им рисуют желательный идеал, а они говорят, что он неосуществим в своих частностях, и потому лучше оставаться при кулачном праве. Им предлагают червонцы, а они спешат произвести химический анализ и, открыв в них присутствие лигатуры, остаются при своем навозе!

Такова-то эта практическая мудрость!

Но обратимся к утопистам и, чтобы понять смысл их утопий, посмотрим, как глядели они на современное им общество.

«Вы жестоко казните воров, — говорит Мор, — но не лучше ли было бы обеспечить существование всех членов общества, чтобы никому не было нужды воровать и потом гибнуть за это? Общество заботится об этом, отвечаете вы: промышленность, земледелие

представляют народу множество средств к жизни; но есть люди, предпочитающие преступление труду. Постойте... я не буду говорить о тех, которые искалечены или стали уродами; взглянем на то, что происходит ежедневно».

«Главная причина общественной нищеты — это множество аристократов, тунеядных лихоимцев, кормящихся чужим потом и трудом, и которые возделывают свои земли, обдирая до крови арендаторов, чтобы умножить свои доходы. За ними следует толпа праздных слуг, неспособных иначе зарабатывать себе пропитание».

«С какой стороны не взглянешь, эта громадная толпа тунеядцев оказывается совершенно бесполезною, даже на случай войны, которую впрочем всегда можно избежать. В мирное же время это сущая язва».

«Дело дошло до того, что даже овцы, животные столь кроткие, неприхотливые, обратились у нас в таких прожорливых хищниц, что поедают людей и опустошают поля, дома и деревни. Всюду, где собирается с них лучшая шерсть, являются толпы вельмож, богачей, священников и оспаривают друг у друга каждый клочок земли. Этим беднякам мало их рент, бенефиций, процентов; они отнимают у земледелия обширные пространства земли, обращают их в пастбища, разрушают дома, деревни и оставляют целою только церковь, чтобы обратить ее в овечий хлев... Таким образом лихоимец присваивает себе тысячи десятин и спешит загородить их стеною. И честные земледельцы изгоняются из своих жилищ, одни обманом, другие силою, а третьи, счастливейшие, придирами и прижимками, которые вынуждают их продавать свои имения. Несчастные бегут из-под кровли, под которой родились, продают за бесценок все, чего не могут унести. Когда истощатся у них скудные средства, вырученные от этой продажи, что им останется делать? — Воровать и идти на виселицу (*id cum breviarondi insum prerint quid restât alind, quam uti furentur et pendeant*){19}.

Или, быть может, они предпочтут идти по миру? Но их не замедлят посадить в тюрьму, как бездомных бродяг без рода и племени. Но в чем же их преступление? В том, что никто не хочет принять их услуг, которые они предлагают с такою готовностью».

«Обуздайте же лихоимство богатых; лишите их права грабить. Истребите тунеядцев. Пока вы не исправите всех зол, которые я указал вам, не говорите мне о вашем правосудии — оно ложь. Вы отдаете миллионы детей в жертву порочному и безнравственному воспитанию. На ваших глазах разврат губит эти юные растения, которые могли бы расцвести для добродетели, и, когда сделавшись взрослыми, они совершат преступления, привитые к ним с колыбели, вы поведете их на казнь! Что же вы делаете? — Воров, чтобы иметь потом удовольствие их вешать (*quid aliud quaeso quam facitis fures, et inde plectitis*)»{20}.

«О вы, неумеющие управлять, сознайтесь наконец, что вы недостойны и неспособны повелевать свободными людьми. Или исправьте свое невежество, свою гордость и леность. Создавайте учреждения, которыми зло предупреждалось бы и пресекалось в корне».

«Конечно, правду, откровенно высказанную, не замедлят встретить насмешками. Но подло и глупо скрывать истины, осуждающие общественное зло, потому только, что их примут за

нелепые новости и за неосуществимые химеры. Ведь так пришлось бы спрятать евангелие и скрывать от христиан учение Иисуса».

Так говорил Томас Мор, лорд-канцлер Англии. После него так же смотрели на общество и другие люди, отрицавшие практическую мудрость.

«По-моему, — говорил Мерсье (Homme de fer, 1786), {21} — кто, родившись, не имеет на земле угла, где приклонить голову, необходимо враг всех собственников. Лапландец, родившись, получает по крайней мере хоть оленя, а когда у него прорежутся зубы, ему дают другого; в Европе же есть миллионы людей, у которых нет своего ни одного дерева. Можно было бы написать страшную книгу по поводу слова «собственность».

«Самые бедные люди, вдобавок еще, принуждены кормить и воспитывать людей, которые со временем за ничтожную плату будут служить шайке богатых. Право, нельзя достаточно надивиться тому, что творится в обществе!»

«Люди, изобретающие разные планы народного воспитания, — говорит федералист Бриссо [141] (в брошюре 1787), — забывают одно, что народ, ничего не имеющий, не может иметь и хорошего воспитания. Без собственности у него нет отечества; без собственности против него все, и сам он должен быть вооружен против всех. Общество кричит ему: уважай собственность богатого соседа! Он же может спросить его: а уважило ли ты мои права? Правительство кричит ему: неприятель овладел моими владениями; вооружайся, защищай меня, умри, если нужно! Умирать? За что? — может он ответить. — Да разве у меня есть что-нибудь? Разве неприятель, сделавшись моим господином, будет ко мне жестокосердее тебя? Разве он может наделать мне больше ела, чем ты? Разве он может придумать для меня худшее иго?»

«Что ответить этому несчастному?»

«Гордец, презрительно оскорбляющий несчастных среди роскоши, в которой ты плаваешь, перестань называть собственностью плоды своего лихоимства! Перестань оснащать их неправыми законами и устрашать строгими карами невинных, восстающих против них! Да, эти рвы, эти стены, которыми ты окружаешь свои парки, эти заставы, которыми ты преграждаешь вход в свое имение, — все обличает твою тиранию».

«Яков называет себя собственником сада; имеет ли он больше прав на него, чем Петр? Нет, конечно, нет. Родители Якова передали ему это наследство; но на каком основании обладали они им? Проследите какой угодно порядок наследственности, и вы увидите, что первый, назвавшийся собственником, не имел никаких прав на свое владение».

«Все эти соображения делают очевидною противоестественность принятых начал гражданской собственности. Могло ли естественным путем возникнуть такое существо, как окупщик? Может ли разум представить себе существование субъекта, именующего себя собственником 300 десятин земли, лежащих на 200 верст от его местожительства и которых он даже не видел?»

«Гордец! у дверей твоих люди мрут с голода, а ты считаешь себя собственником! Лжешь! Вины твоих погребов, запасы твоих кладовых, твоя мебель, твое золото — все это принадлежит им: они — хозяева всего этого. Таков закон природы».

«Нарушено естественное равновесие между людьми. Изгнано равенство, и возникли ненавистные различия между богатыми и бедными. Общество разделилось на два класса: первый — собственников и второй, гораздо многочисленнейший, — народа. И для поддержания жестокого права собственности были изобретены жестокие казни. Нарушителя этого права называют вором, а между тем настоящий вор — богач, имеющий излишек. В обществе же вор тот, кто отнимает что-нибудь у этого богача. Какая путаница в мыслях, какой хаос в понятиях! (Resherches philosophique sur le droit de propriété et de vol. 1780)» {22}.

«Лихоимство и насилие, — говорит Лепте, — овладели светом. Они согласились давать владение землею только тому, кто примет их сторону. Поэтому, у кого нет паспорта, выданного этими двумя тиранами, тому не найдется на земле не одного угла для убежища».

«В наших цивилизованных странах все стихии обращены в рабство. У каждой есть свои господа, которые продают позволение пользоваться ею. Самое бесплодное поле непременно принадлежит какому-нибудь деспоту, который может обвинить в преступлении путника, осмеливающего дышать свежим воздухом на его владении. Богач, присвоивший его себе в исключительную собственность, может не согласиться даровать другим право на воздух своих владений. Чтобы получить согласие его на пользование его сокровищами, надо согласиться участвовать в их умножении».

«Он вечно подозревает бедняка, которого грабит, и считает независимость покушением на свои права, свободу — бунтом. Он громко говорит, что ему одному принадлежит право мыслить. Он постоянно хлопочет о том, чтобы как можно больше подавить бедных из опасения, что, очнувшись, они сделают из сил своих не то употребление, которого он требует. В отношении бедных он следует примеру египтян, угнетавших израильтян: он обременяет их работою, чтобы лишить их времени думать о причине своего бедствия».

«Горе гордому и сильному, который, презирая общественное порабощение и не желая иметь с обществом ничего общего, отправился бы в пустыню искать утраченного достоинства своего рода. Приходится отказаться от этих мечтаний о независимости и свободе. Приходится сообразовать свой образ действий с общественными условиями.

Приходится найти такое занятие, чтобы можно было кое-как добывать себе средства к жизни. Приходится предаться духу барыша и, под влиянием самой настоятельной необходимости, согласиться бороться против всех прочих людей, одушевленных теми же принципами и так же движимыми необходимостью жить, одеваться и пользоваться теми пошлыми развлечениями, которые у нас величают именем наслаждений. (Théorie des lois civiles, 1767)» {23}.

«Главная задача общества — избавить богатого от труда. Уничтожив рабство, не уничтожили ни богатства, ни его преимущества. О восстановлении равенства никто и не

подумал; богатый отказался от своих преимуществ, но лишь для вида. На самом же деле все осталось по-прежнему. Большинство продолжает жить жалованьем и в зависимости от меньшинства, которое присвоило себе все. Рабство утвердилось на земле на веки и только переменяло название».

«Наши города и деревни населены рабами, известными под именем поденщиков, работников и т. д. Их не бесчестят блестящие ливреи холуйства; они покрыты отвратительным рублищем — ливреею нищеты. Они никогда не пользуются благами, источник которых — их труд. Они заменили в нашем обществе рабов старого общества и составляют большинство всех наций. Рассматривая их положение, приходится сознаться, что низшие классы обогатились от уничтожения рабства лишь постоянным страхом голодной смерти, тогда как предшественники их в задних рядах человечества были, по крайней мере, обеспечены хоть от этого несчастья».

«Раба кормили даже тогда, когда он не работал. Но свободный работник, получающий мало, даже когда работает, без работы окончательно гибнет. О нем никто не заботится. Никто и не пожалеет его, когда он, наконец, погибнет от истощения и нищеты. Кому нужна его жизнь? Он ни к кому не привязан, и никто не привязан к нему. Когда в нем есть надобность, его нанимают, как можно дешевле, жалкая плата, которую ему обещают, едва равняется цене припасов, крайне необходимых для дневного пропитания. За ним ставят надсмотрщиков, чтобы понукать его в работе; его насильно торопят, боясь, чтобы как-нибудь он не избежал каторжной работы, на которую его осуждают».

«Хозяин дорожил рабом, которого покупал за деньги. Но поденщик не стоит ничего развратному лихоимцу, нанимающему его. Во времена рабства человеческая кровь сколько-нибудь ценилась. Рабы ценились хоть на ту сумму, которую за них платили. С тех пор, как их перестали продавать, они потеряли всякую цену. В армии лошадью дорожат гораздо больше, чем солдатом, потому что лошадь дорога, а солдат получается даром. С уничтожением рабства этот военный расчет перешел и в обыденную жизнь; с тех пор каждый заживевший буржуа смотрит на людей глазами героя».

«Поденщики рождаются, растут и воспитываются для служения богатству, не стоя ему ничего, подобно дичи, которую оно стреляет в своих владениях. По-видимому, современные капиталисты открыли секрет, которым напрасно похвалялся бедняга Помпей. Им стоит ударить ногой оземь, чтобы из земли вышли легионы тружеников, оспаривающих друг у друга честь служить им. Едва выбудет кто-нибудь из толпы наемников, воздвигающих их здания и выравнивающих их сады, как место его в ту же минуту занимает само собой, без всяких хлопот для собственника. Легкость, с которой замещаются рабочие, увеличивает бесчувственность к ним богатых».

Обличая так верно, так метко общественные язвы, утописты противопоставляли этому ужасному социальному состоянию свои идеалы. В этих идеалах, конечно, не все безукоризненно верно, и во многих частностях утопии их расходятся друг с другом. Но сущность их всегда одинакова и всегда выражает одно и то же желание учредить на развалинах старого порядка противоположный ему новый, где насилие и лихоимство были бы заменены свободой и взаимностью. Это — вечная мечта всех этих честных утопистов и

мечтателей, кто бы они ни были, отцы церкви или атеисты XVIII века, вожди восставших рабов или канцлеры и министры, философы или невежды, патриархи или энциклопедисты.

Мы уже знаем, каков был идеал христиан: общность имущества, братство, взаимность, труд, презрение к роскоши; такова «Утопия» Деяний Апостольских, монастырских уставов и отцов церкви. Эти утописты попробовали осуществить свою утопию среди общества, погруженного в разврат и преданного грабежу. Что вышло — мы видели. Монастыри, эти фаланстеры, где должны были царствовать труд, бескорыстие и братские отношения, обратились, под тлетворным дыханием окружающей среды, в притоны тунеядства, роскоши, честолюбия, лихоимства и разврата. Кончилось тем, что нация, возмущенная нелепостью и безобразием католичества, с восторгом приветствовала и громовые речи реформаторов и насмешки Этьена, Рабле и Вольтера, обращенные против церкви. Монастырская жизнь представляла немало пищи и серьезным обвинениям, и сатире. И обвинители, и насмешники не преминули обвинить за все ее нелепости самый христианский идеал, во имя которого она была некогда основана.

Это простительно людям, увлеченным негодованием против гнусного зла; но нельзя не сознаться, что увлечение это было крайне и несправедливо. Виноваты ли идеи равенства и братства в том, что люди не умели или не могли, при известной обстановке, осуществить их? Точно так же не виноваты они, если после монахов не сумели бы осуществить их, в среде лихоимствующего общества, другие люди: это не мешает им остаться истинными и продолжать быть по-прежнему идеалом всех благородных умов, не выносящих практики существующего порядка.

Живучесть их удивительна. Едва успел католицизм уронить и опозорить окончательно монастырскую жизнь; едва народы, по голосу передовых мыслителей своих, успели с отвращением отвернуться от недостойных представителей христианского идеала, как идеал этот в ту же минуту уже воскрес во всей своей евангельской чистоте в умах мыслителей, совершенно иного направления, в умах, воспитанных только что возродившеюся философией греков. Послушаем Мора:

«Если бы я вздумал рассказывать теорию республики Платона или обычаи, ныне существующие у жителей „Утопии“, обычаи, столь далеко превосходящие наши понятия и нравы, все сочли бы меня выходцем из другого мира, потому что у нас каждому принадлежит право исключительной собственности, тогда как там все имущества составляют общее достояние. (Nec privatae sunt possessiones, illic omnia sunt communia){24}. Но там, где существует частная собственность, где все измеряется на деньги, там невозможна справедливость и процветание государств».

«В „Утопии“ законов мало; администрация заботится об всех гражданах. Достоинство всегда вознаграждается, и в то же время национальное богатство распределено так равномерно, что каждый пользуется всеми удобствами жизни (ut tamen aequatis rebus, omnia abundant omnibus){25}. У нас же, где освящено начало исключительной собственности, недостаточно миллионов законоположений, чтобы доставить каждому собственность и дать ему средства защищать ее и отличать от чужой!»

«Когда я думаю об всем этом, я не могу не отдать полной справедливости Платону и не удивляюсь, что он не хотел учреждать законов для народов, не желавших ввести у себя равенства имуществ. Этот великий ум видел ясно, что без равенства невозможно общественное благосостояние и что единственное средство учредить равенство заключается в уничтожении исключительной собственности; потому что иначе каждый будет всячески стараться оттянуть в свою пользу как можно больше. И как бы ни было велико общественное богатство, но дело кончится непременно тем, что меньшинство приберет его к своим рукам, оставив прочих в нищете. Вот почему я убежден, что, для установления равенства и справедливости и для упрочения общего благосостояния, необходимо предварительно уничтожить собственность. (Res aequabitur ac iuxta aliquam rationem distribuitur, ac feliciter agitur cum rebus mortalium, nisi sublatâ prorsus proprietate, non possint){26}. Пока она будет существовать, самый многочисленный и достойный класс всегда будет иметь уделом лишь голод, страдания и отчаяния».

«Я знаю, что есть средства, которыми можно облегчить зло; но ими нельзя излечить его радикально. Можно, например, установить maximum для частных владений землею или деньгами (как в законах Платона) или издать сильные законы против деспотизма и анархии. Средства эти, может быть, превосходны, как палиативы, способные до некоторой степени усыпить боль; но недействительно восстановление сил и здоровья, пока будет существовать частная собственность. (Ut sanentur vero atque in bonum redeant habitum, nullo omnino spes est, dum sua enique sunt propria)»{27}.

«В „Утопии“ работают только по 6 часов в сутки. Мне скажут, быть может, что этого недостаточно и что вскоре должна ощущаться нужда. Нисколько; напротив того, этого не только довольно, но даже достаточно для произведения всех удобств жизни. Вы легко поймете это, если примете в соображение, сколько людей у других народов ничего не делают. Во-первых, все женщины, составляющие половину населения, и большая часть мужчин. Вся эта огромная толпа монахов и членов тунеядного духовенства (sacerdotum ac religiosorum, quos vocant, quantacumque otiosa turba){28}. Далее все эти богатые собственники (ad iocum divites omnes praediorum dominos){29} и вся стая лакеев и ливрейных бездельников».

«В „Утопии“ праздность и лень невозможны. Всеобщее изобилие является плодом этой деятельной жизни, и довольство распространяется равномерно на всех членов общества. Когда в одной местности урожай, а в другой недостаток, принимаются меры для восстановления равновесия безвозмездно. Город, который отдает свой излишек хлеба, ничего за это не получает; и сам получает даром все, что ему нужно. Словом остров „Утопия“ представляет весь как бы одну семью (ita tota insula veit una familia est)»{30}.

«Вот какова эта республика! По-моему, она не только лучшая из всех существующих, но единственная, заслуживающая имени республики. Всюду, в других странах, люди, толкующие об общих выгодах, помышляют только о собственных; между тем как там, где ни у кого нет ничего собственного, все серьезно занято общественною пользой, потому что она действительно сливается с частною»

«В общине ни у кого нет ни в чем недостатка, потому что государственные имущества распределяются справедливо. Нет не бедняков, ни нищих, и хотя ни у кого нет ничего своего, однако все богаты. Утонийская республика печется о всех, как о тех, которые трудятся, так и о старцах и больных, отслуживших свой век. Можно ли сравнить с этим наши порядки, где человек, ничего не производящий, наслаждается бездельем и роскошью, тогда как работник, земледелец, ремесленник живут в убийственной нищете, едва добывая себе самое скудное пропитание. Они принуждены работать так долго и обречены на такую тяжелую работу, что ее не выдержит вьючное животное, и до того необходимую, что без нее общество не просуществует и года. Положение скота, право, лучше: он работает меньше, кормят его лучше, соответственно его вкусу, и притом животного не тревожит будущность».

«Но какова участь работника? Бесплодный, машинный труд гнетет его в настоящем, а в будущем его сокрушает перспектива жалкой старости. Богатые ежедневно что-нибудь похищают из скудной платы бедняков равными хитростями и даже нарочно издаваемыми с этой целью законами. По-видимому, ничего не может быть несправедливее такой неблагодарности к людям, которые всех поят и кормят; но богатые обратили эту несправедливость в чудовищное мошенничество, освятив ее законами. Рассматривая самые цветущие наши республики, я вижу в них просто заговор богатых, обделяющих свои делишки под пышным титулом республики. (*Nihil aliud quam quaedam conspiratio divitum de suis commodis republicae titulo nominaeque tractantium*)»{31}. Заговорщики стараются всеми хитростями и вообще всеми средствами достичь своих целей. Цели эти, во-первых: обеспечить себе спокойное и прочное владение состоянием, нажитым более или менее подло; во-вторых: пользоваться нищетою бедных, злоупотреблять ими, как скотами, и как можно дешевле покупать их работу. И эти-то махинации, устроенные богатыми от имени государства, следовательно, в том числе от имени самых бедных, обратились в законы! (*Haec machinamenta ubi semel divites publico nomine hoc est etiam pauperum decreverunt observari*){32}.

Прошли века, и мечты утопистов не забыты. Напротив того, они постоянно все более и более выясняются и принимают философское основание и определенный, разумный характер. Влияние философии XVIII века отражается на утопиях Морелли и Мабли, которые дают уже предчувствовать Фурье и Овена.

«До сих пор, — говорит Мабли (*Législation, ou Principes de Sois, 1776; Doutes proposés aux économistes sur l'ordre naturel des sociétés politiques, 1768*){33} общество представляло всюду скопище угнетателей и угнетенных. Тысячи жестоких революций уже тысячу раз изменяли вековые порядки и уничтожали самые великие государства. Однако этот вековой опыт не вразумил еще нас и не убедил, что мы ищем счастья в том, в чем его нет».

«Напротив того, мнимая философия, приняв все нелепости, совершающиеся в мире, за правило того, что должно быть, помогла нашим предрассудкам и придала им вид разумности; вследствие чего они могут простоять еще долго. Шарлатаны льстили нашим прихотям и, желая поучать нас, сами еще не выйдя из невежества, насаждали нам софизмов, которые мы приняли за истину».

«А между тем, исследуя сердце человеческое, мы видим, как искусно развиты различные потребности, которым мы подчинены, чтобы сделать нас необходимыми друг другу и обратить наш эгоизм во взаимное расположение и братство. В нашей душе живут многие социальные качества, служащие для нас невольными инстинктами, благодаря которым нам дорого счастье ближних. И мы, под влиянием любви к наслаждению и опасения страдания, стремимся сблизиться друг с другом, любить помогать и делать друг другу взаимные услуги. Мы чувствуем сострадание, благодарность, потребность любви, страх, надежду, соревнование, славолубие и т. д.»

«Когда я думаю об этом и читаю описание какого-нибудь пустынного острова, где небо ясно, вода чиста, мне всегда приходит в голову отправиться туда, учредить там республику, где все были бы равны, все богаты, все свободны, все братья и где первым законом для всех было бы отсутствие частной собственности».

Таковы были мечты и утопия отщепенцев, из века в век Повторявших свой протест против господствующего порядка и напоминавших о своем социальном идеале равенства, братства и свободы.

Практики весело смеялись над ними и продолжали, не смущаясь, бражничать, бездельничать, свирепствовать или проповедывать религиозную реформу на манер Генриха VIII [142], любить по способу Людовика XV, учреждать свободу на образец Иосифа II [143]. Их деятельность казалась им такою практической, такою осмысленной, такою прочной, а эти утопии такими смешными бреднями...

Но ударил гром, налетел ураган, земля затряслась, и совершился страшный катаклизм. И когда взошло солнце нового века, оно осветило одни мертвые развалины.

Развалины. Размышление о падении государств (Вольнея)

Приветствую вас, пустынные развалины, священные могилы, немые камни!

Между тем как вид ваш поражает тайным ужасом воображение невежды, — сердце мое волнуют глубокие чувства, и, глядя на вас, в уме моем зарождаются высокие мысли. Как много поучительных уроков, как много увлекательных и крепких дум задаете вы тому, кто умеет вас спрашивать! Не вы ли, славные развалины, возвышали поработанному и безгласному люду те горькие истины, которые так ненавистны тиранам, те истины, которые выражали святой догмат равенства людей перед смертью, одинаково пожирающей царя и его последнего раба! Не вы ли теперь вызываете во мне, страннике, сознание свободы, не той свободы, которая рисуется невежде и безумцу в образе палача, а свободы в образе великого судьи, который воздает каждому пароду по делам его!

О могилы! Сколько в вас добродетелей! И как страшны вы тиранам! Невольным содроганием и трепетом казните вы их в разгаре позорных наслаждений. От вас бегут они и запираются во дворцах, малодушно избегая вашего грозного вида. Да, вы казните гордого повелителя. Вы похищаете награбленное богатство лихоимца; вы мстите за бедняка, которого он обокрал. Вы вознаграждаете нищего страдальца за его лишения, проводя на лбу развратного богача морщины подлости и позора. Вы утешаете несчастных, давая им последнее убежище после горькой жизни. Вы приводите, наконец, взволнованную душу в то спокойное настроение, в то чудное равновесие сил и чувств, которое составляет настоящую мудрость и науку жизни. Соображая, что все придется покинуть, разумный человек не станет гоняться за пошлым величием и жаждать лишнего богатства; он удержит себя в границах права и правды, будет жить честно и действовать на благо ближнему. — Так умеете вы, добродетельные развалины, обуздывать насилие и разврат, умирять душу среди разгула страстей и возвышать ее над грязными интересами будничной жизни! И вот, глядя на вас, передо мной воскресает погибший мир с его неправдой...

О смерть! Как не благословлять тебя, когда ты можешь учить живых и наставлять их на путь истины и добра! О смерть, богиня моя, поведай мне тайну горькой жизни пародов и, на развалинах прошлого, освети мой ум светом животворящей истины!

Так взывал я в виду развалин древней Пальмиры [144], куда бежал от общества, которое отравляло мою жизнь своим гнусным устройством, своим суеверием, рабством и безумием. Так размышлял я на свободе, в виду могил и немых памятников старины, в которой и стал

искать разгадку прошлой жизни, с целью попятить настоящую, современную. И вот что после долгих исследований и размышлений рассказала мне седая старина.

Куда девалось величие и могущество древних государств? Где Пальмира, Нинивия, Вавилон, Тир, Сидон, Фивы и другие славные и богатые столицы древнего мира! Все они лежат в развалинах! Та самая, например, Сирия, в которой считалось некогда до ста огромных, населенных городов, стоит теперь почти безлюдной пустыней. Там и сям на ней виднеются обломки толстых стен, колонны разрушенных храмов и дворцов, в которых жили и пировали разные цари ассирийские и вавилонские. Давно уже, на месте этих коронованных гадов, копошатся мириады ящериц, змей, скорпионов, и царству их не предвидится конца. Гадами жили люди и гадов развели после своей смерти. Чему тут удивляться!

Вымерли древние народы, все народы верноподданные, которые имели своих царей и богов, судей и жрецов, которые строили дворцы и храмы, платили подати и молились. Вымерли эти народы, и не спасла их от смерти ни покорность, ни набожность. Заплатило дань смерти рабство и невежество, и вот из могилы своей оно уверяет еще, будто во всем виновато божество и его неизреченная воля! И народы, живые народы прислушиваются до сих пор к этому замогильному, мертвящему голосу и верят ему, как голосу исторической правды!

Но мертвым срама нет. И так пусть стыдятся живые, которые хотят жить по образцу мертвецов. Как они жили — о том говорят не они, а могилы, куда преждевременно загоняло их рабство и суеверие. Этими бичами казнились народы и под их ударами умирали бессознательно, испуская глухие стоны, в которых слышался вопль мольбы и проклятия.

Кто же обратил рабство и суеверие в орудие пытки народов? Неужели божество, которое спилось всегда людям, страдавшим наяву?

Нет, не карою небесной, а насилием и грабежом казнились народы, обращенные в рабство и обесмысленные суеверным страхом. Насилие и грабеж — вот два неиссякаемые источника народных бедствий и страданий. Что же касается невежества и суеверия, то они всегда и везде укоренялись неизбежно, вследствие развития грабежа и насилия.

Первым правом человека, в диком, первобытном его состоянии, было право сильного. Его породила борьба за существование, та зверская и кровавая борьба, в которой сильный убивал слабого, брал себе его добычу и жадно пожирал ее. Так жили и живут дикари и варвары, повинувшись животному инстинкту самосохранения.

Итак, в постоянной борьбе за существование, люди сперва убивали и пожирали друг друга, потом стали обращать друг друга в рабство и, наконец, решились жить стадом или, говоря нежнее, обществом, в котором узаконили право сильного над слабым и власть господина над рабом или тунеядца над работником. Итак, на основании того, что сильный, способный убить слабого, вздумал оставить его в живых, создалась общественная жизнь с целью прекратить кровопролитную борьбу за существование и вернее обеспечить жизнь победителей на счет побежденных и властителей на счет подвластных и рабов. Этот вид людоедства, постепенно совершенствуясь, показался таким необходимым и законным условием жизни двуногих, что они и по сие время почти не думают изменять его. Постоянно

глядя на неравную борьбу сильного со слабым, люди пришли к тому убеждению, что неравенство — закон самой природы, и потому неравенство стало правилом житейских отношений. На этом пагубном предрассудке устроилась жизнь семейная, гражданская и политическая со всей ее формальной неправдой.

Прежде всего, отец семейства сделался, по нраву сильного, грозным повелителем своей жены и детей. Он стал смотреть на них, как на свою собственность или вещь, и распоряжался ими по личному соображению и прихоти.

По образцу отцовского, семейного деспотизма завелся с незапамятных времен деспотизм государственный, политический.

Как насилием и грабежом начиналась политическая жизнь народов, так точно насилием и грабежом она и кончалась. Эту роковую истину подтверждает история древних государств, давно исчезнувших с лица земли.

Действительно: логика грабежа и насилия беспощадно казнила народы во веки веков и осуждала их на жалкую и позорную смерть. С одной стороны, грабеж порождал всегда в среде каждого общества ту отчаянную борьбу за существование, в которой сильные давили слабых. С другой стороны, по праву сильного, победители всегда обращали в рабство побежденных и, под страхом казни и смерти, заставляли их признавать свою власть. Затем властители, обеспечив себе тунеядное существование, разделялись на партии и начинали взаимную борьбу с целью захватить в свои руки исключительное господство над рабами. И вот, эта борьба, кончаясь торжеством одной партии, вызывала, в свою очередь, междоусобную вражду новых победителей, пока наконец кому-нибудь из них не удавалось подавить соперников и добиться самовластья. Таким путем постоянной, кровавой войны создавались те чудовищные, деспотические империи, в которых один человек мог распоряжаться судьбою миллионов. По лишь только народы доходили до такого безобразного политического состояния, как немедленно обнаруживались все признаки неизбежной их смерти.

Разложение и падение государств, основанных на деспотизме, заявлялось всегда тем, что тираны, предаваясь необузданному грабежу и насилию, истощали все производительные силы народов и обращали свои громадные владения в пустыню, где могли жить не люди, а дикие звери. До какого безумия способны доходить деспоты, нагляднее всего показывает нам жизнь разных ассирийских, вавилонских, персидских царей и римских императоров.

Ничто так не развращает и не безобразит человека, как насильственная власть его над другим человеком, власть, которою он всегда злоупотребляет для удовлетворения своих яичных желаний, прихотей и страстей. И чем более людей насильно покоряются воле одного человека, тем он становится развратнее, безумнее и опаснее. Вот почему деспотизм не мог никогда возбуждать к себе других чувств, кроме отвращения и ужаса. История свидетельствует, что деспоты, играя судьбою своих подвластных, как будто с умыслом убивали в себе все человеческое, чтобы не походить на простых смертных. От скуки и пресыщения они предавались крайнему разврату и старались доказать свое безумие какими-нибудь отчаянно нелепыми выходками. Им приходила фантазия устраивать висячие

сады, осушать реки и проводить из них воды на высокие горы, чтобы она падала оттуда каскадами. Им нравилось обращать пахотные поля в леса и рощи, рыть озера среди степей или на горах, воздвигать громадные пирамиды и строить стены на протяжении тысячи верст. В течение веков деспоты заставляли миллионы людей работать с утра до ночи над сооружением совершенно бесполезных зданий, храмов, мавзолеев, дворцов из мрамора и порфира, и эта непроизводительная, каторжная работа пожирала людей хуже чумы и всякой заразы.

И безумие деспотов, утопавших в грязи самых гнусных наслаждений, быстро истощало и подрывало народное благосостояние. По мере того, как нищали народы, их грабили сильнее и беспощаднее. Подати и налоги возрастали непрерывно и, не удовлетворяя алчности грабителей, разоряли в конец все население. Земледельцы, теряя надежду на безопасное существование, покидали свои поля или продавали их за бесценок, желая спастись от грабежа и насилия. В руках правителей и богачей-лихоимцев скоплялись страшные богатства и расточались на бессчетные и омерзительные удовольствия. Забитые и нищие народы обращались в стада двуногих скотов, без крова и корка, а хозяева их соединились в шайки разбойников и воров, которые бессовестно мучили этих скотов и гоняли их гуртом на кровавую бойню. Война питала войну мясом и кровью народов, изуродованных, измученных деспотизмом. Победители обращали в рабство побежденных; государство падало за государством; тиран сменял тирана. Круг побоища народов все более и более расширялся.

И вот, на окраинах древнего мира, ставшего добычей римлян, появляются, наконец, варвары, которые и наносят ему последний, смертельный удар.

На развалинах старого рабства зарождается новое. Появляются государства, и в основание их ложится опять право сильного. Каждое общество состоит из покоренных и завоевателей, крепостных и господ, неправых и полновластных. Между теми и другими нет ничего общего; их не связывает даже та самая религия, которая, под именем «христианской», распространяется по Европе с начала средних веков. Отвратительное насилие и необузданный грабеж возводятся в законное право победителей. Духовные пастыри освящают это кулачное право и сами пользуются им, наравне с королями, баронами и рыцарями. В удел пароду снова достается нищета с невежеством и суеверием.

В эти темные века изуверства и бесправия не перестает литься кровь человеческая. Нет у людей ни желания отказаться от зверского образа жизни, ни веры в лучшую судьбу свою на земле. «Там, на небесах, — говорили они, — насладимся мы счастьем, которого здесь нет. Сам Бог осудил нас влачить жалкое и греховное существование, чтобы мы надеялись на загробную жизнь и верили в царство небесное, которому не будет конца. Итак, станем презирать настоящее и откажемся от земных благ, в надежде на будущее».

И осудили себя народы на самозаклание и принесли себя в жертву врагам своим, палачам и грабителям. Что же вышло? Рабство гражданское и политическое, которое душило народы, усилилось еще рабством религиозным. Кроме власти светской, развилась еще власть духовная; при деспотизме политическом укоренилось еще лихоимство и насилие церкви. Повсюду на Западе духовенство обратилось в шайку тунеядцев и стало не только жить на счет народа, но и действовать заодно с его тиранами.

Под маской бедности эти тунеядцы наживались всякими неправдами, богатели и наслаждались земными благами, не ожидая небесных.

Притворяясь набожными, они вели развратную жизнь и, проповедуя о любви к ближнему, презирали и ненавидели его от души.

Помышляя только о том, чтобы жить на чужой счет, они постоянно воспевали милостыню и ставили ее в число первых добродетелей.

Желая обратить на себя общее внимание, они выдумывали пышные церемонии и процессии. Жажда власти и почета побуждала их сближаться с аристократической знатью и сановниками, от которых они надеялись добиться великих и богатых милостей. С этой целью становились они духовниками вельмож и королей и, с подбострастием покорных слуг, управляли ими, как хотели. Когда власть угождала им, тогда они проповедывали, чтобы ее уважали и боялись. Когда же она не нравилась им или противилась их желаниям, тогда они унижали ее, возбуждали к ней презрение и ненависть. Злоба доводила их часто до того, что они жестоко мстили властям, взывая к восстанию и проповедуя убийство.

Всякое посягательство на свои интересы называли они святотатством и беззаконием. Опасаясь потерять влияние на народ, они восставали всегда против образования и заботились удержать за собою монополию воспитания.

Наконец, всегда и везде они достигали своих целей и были сыты, когда народ умирал с голода, и были спокойны среди общего волнения и, во имя Христа, под видом бедняков, собирали такие огромные подати, каких не мог собрать ни один король. И все их ремесло заключалось в том, что они торговали словами и жестами, продавая их, как товар, по возможно высокой цене.

В средние века католическое духовенство управляло народами по своей прихоти и вело их не путем спасения, а рабства и унижения. Светская власть видела это и радовалась, что ей самой не приходится много хлопотать о своих интересах. Но, при всем этом, не взирая на частые войны, не взирая на чуму, голод и другие бедствия, народы размножались и по временам стонали от нестерпимой боли так громко, что правители обращали на них внимание и насильно заглушали эти стоны. Пока велась еще упорная борьба королей с баронами, пока кулачное, феодальное право не заменились еще государственным, — грабеж и насилие, конечно, развивались, но не возводились, по крайней мере, в науку деспотизма и не освящались законами. Эта наука появилась и стала совершенствоваться только с XV века, со времени утверждения королевской власти.

И вот, по образцу церкви, которая имела казуистов, сочинявших катехизисы и правила изуверства и лицемерия, каждое государство обзавелось юристами, которые измышляли судебники и уставы грабежа и палачества. Участь народов была решена: власти духовные и светские обратили их в стада двуногих скотов и стали пасти их, и драть с них шкуру, и водить на бойню... И народы терпеливо сносили иго деспотизма и топтались в грязи, и утопали в лужах своей крови.

Проходит век, проходит другой, и восстает один народ, восстает и сбрасывает с себя тяжелое ярмо. Молния революции освещает Францию, и старое, феодальное здание разваливается.

Что за чудо! Униженный, забитый парод возвышает свой голос и громко говорит: «Много нас, французов, и живем мы в стране, щедро наделенной природою. Но, несмотря на то, что мы работаем, нищета у нас страшная. Платим мы огромные подати, а нас уверяют, что платим мало, и требуют все больше и больше. Кто же грабит нас? Кто наш враг?»

Из среды многочисленной толпы народа на этот вопрос отвечают: «Врага узнать легко: пусть народ, рабочий народ. Отделится от тех, которых он даром поит и кормит; они враги его».

И народ отделился от дворянства и духовенства и допрашивал каждое из этих тунеядных сословий, по какому праву они кормятся на его счет.

Аристократы отвечали: «Мы рождены не для работы».

Народ спросил: «Как же вы скопили такие богатства?»

Аристократы: «Мы управляли тобою».

Народ: «Как! Мы работаем, выбиваемся из сил, а вы наслаждаетесь! Мы производим, а вы только потребляете и расточаете! Все богатства создаются нашим трудом, а вы, забирая их себе, желаете еще распоряжаться нами, управлять нашей судьбою! Нет, тунеядцы, грабители и угнетатели: если вы намерены так жить и поступать с нами, то мы не хотим вас знать. Удалитесь, оставьте нас в покое и живите одни. Посмотрим, как вы проживете без труда!»

Услыша такую угрозу, аристократы стали совещаться. Между ними нашлись люди совестливые и правдивые, которые сказали: «Пора нам отказаться от своих старых прав: они незаконны. Сблизимся с народом и станем жить его жизнью. Наши крепостные такие же люди, как и мы: притом они еще содержат нас своим трудом».

Но другие дворяне говорили с досадою:

«Нет, нам позорно сблизаться с народом, с этою низкою чернью, которая должна служить нам и слепо повиноваться нашей воле. Мы люди благородные; в наших жилах течет чистая, дворянская кровь, которая делает нас господами. Итак, напомним грязной толпе наше высокое происхождение и наши наследственные, неотменимые права».

И аристократы обратились к народу с такою высокомерною речью: «Разве ты, черный народ, забыл, что мы владеем тобою по праву собственности? Разве ты не знаешь, что мы обратили тебя в рабство из милости? Мы могли лишить тебя жизни, но даровали ее великодушно с условием, чтобы ты работал и повиновался. Помни же это и покоряйся нашей власти, освященной обычаем, временем и законами».

Народ отвечал: «Аристократы! Вы говорите о праве собственности, Лучше замолчите! Иначе вам докажут, что ваше право не право, а насилие и грабеж».

Партия аристократов с бешенством стала грозить народу и звала к себе на помощь солдат. «Бейте непокорных рабов, бейте эту чернь!» — вопили они.

Народ, завидя солдат, сказал им: «Неужели вы станете бить своих родных, своих отцов и братьев? Если погибнет народ, то кто же станет кормить вас?»

И солдаты, не подымая оружия, отвечали аристократам: «Мы готовы поражать неприятеля; но с народом нашим биться не станем: он не враг, а друг наш и кормилец».

Тогда аристократы с отчаяньем обратились к духовенству и умоляли его запугать суеверный народ страшным судом и вечными муками ада.

И фарисеи начали торжественно говорить народу: «Братья! Сам Господь дал нам власть над вами, власть вязать и решать дела ваши. Покайтесь и смиритесь!»

Народ возразил: «Где же доказательства вашей власти, фарисеи?»

Они отвечали: «Веруйте, а не рассуждайте!»

Народ: «Но разве, властвуя над нами, вы не рассуждаете? Или вы управляете людьми, лишенными разума?»

Фарисеи: «Жить следует мирно, и вера требует смирения».

Народ: «Без справедливости нет мира и согласия».

Фарисеи: «На что вы жалуетесь, братия? Если вам дурно живется, то не удивляйтесь. Знайте, что в этой жизни мы осуждены на горе и страдания».

Народ: «Подайте нам сами пример такой горькой жизни».

Фарисеи: «Братия, повинуйтесь властям! Или вы думаете обойтись без них?!»

Народ: «Мы только не желаем, чтобы нас угнетали и грабили».

Фарисеи: «И вы думаете, может быть, обойтись и без нас, заступников ваших и молельщиков за грехи ваши?»

Народ: «Нет, фарисеи, ваши молитвы обходятся нам слишком дорого. Лучше всего мы станем молиться сами за себя. Знайте, что мы люди рабочие, и работа — наша молитва».

И, услыша эти последние слова, фарисеи и аристократы горько возопили: «Все пропало: народ прозрел!»

А народ радостно воскликнул: «Все спасено, потому что я прозрел. На моей стороне правда, и право, и сила. Правом, святым своим правом, а не грубою силой хочу я пользоваться, хочу быть свободным и независимым. Я желаю свободы: в ней правда, в ней залог жизни».

Так французский народ сбросил с себя ненавистное иго политического рабства и стал отщепенцем старого, феодального мира.

Так рухнули два гнилых столпа этого мира — дворянство и духовенство, которые двенадцать веков сряду поддерживали грабеж и насилие.

Политическая революция свершилась. На обломках здания аристократии и церкви устроился новый порядок.

Но как, после религиозной революции, произведенной проповедью евангелия, удержалось рабство политическое, так, после переворота 1789 года, уцелело еще рабство экономическое.

Вот почему идея свободы, то есть идея исторического Отщепенства, должна была выразиться отрицанием этого последнего рабства. И она, действительно, выразилась в лице современных отщепенцев буржуазного порядка, в лице социалистов.

Современное отщепенчество

Социалисты

Старый мир лежал в развалинах. Первые лучи восходящего солнца Разума разгоняли безобразные призраки, уродливые привидения, вампиров и оборотней с кладбища человеческой мысли. С воем и жалобным стоном исчезали они, скрываясь в свои могилы, или разлетались, как туман, оставляя по себе лишь неприятное воспоминание, как от тяжелого ночного кошмара.

Правосудие Логике совершилось: жившее мечом от меча и погребло; лихоимство кончилось банкротством; насилие привело к революции, а истина, задавленная и заглушенная столько веков, сбросила, наконец, с себя цепи и готовилась создать новый мир во имя свободы, равенства и братства.

Практики были посрамлены. Все их «вечное», «абсолютное» и «божественное» оказалось несостоятельным и невозможным. Смешны казались усилия их спасти свои верования и учреждения. Смешна была эта утопия, обращенная к прошедшему, эта надежда на воскресение трупа, это горячее желание удержать рассеивающиеся образы галлюцинации.

Казалось, цель человечества была достигнута: идеал готов был обратиться в действительность, слово — воплотиться, отщепенцы — сделаться практиками. Те самые люди, которые еще недавно назывались утопистами, которые мыслили свой идеал только в воображаемых «Океанах» и «Базилиадах» и в доисторическом, досоциальном «Золотом Веке» человечества, теперь стояли во главе современного им общества, руководили им, устраивали судьбу его, были органами и представителями современной действительности.

Те самые принципы, которые еще недавно стояли вне всех условий общества, вне всякой действительности, вне реальной, практической жизни, теперь одушевляли собрание законодателей, жили в решениях их, стали законами для всего общества.

«Перед лицом мира, перед очами бессмертного законодателя» народное собрание провозгласило основанием современного порядка следующие положения:

«Все люди равны и свободны, и целью каждого общества должно быть обеспечение равенства и свободы».

«Свобода есть принадлежащая человеку власть пользоваться всеми своими способностями. Цель ее — справедливость; границы — права других людей; принцип — природа; обеспечение — закон».

«Право собственности, по природе своей, ограничено и подчинено закону. Собственность основана исключительно на труде (кто не работает — не должен есть!); поэтому каждый, по

справедливости, имеет только право на вознаграждение за свой труд; все превышающее это и достающееся помимо труда есть эксплуатация, противная правам человека. Современное общество состоит из богатых и бедных. Закон должен лишать первых излишка и давать вторым необходимое. Обладающий излишком должен помогать тому, у кого нет необходимого; он перед ним в долгу, и закон обязан определить только способ уплаты этого долга».

Таким образом, это было то самое, что проповедывали отщепенцы всех времен, что заключала в себе проповедь евангелия и христиан первых веков.

Но теперь это говорили не изверги, не отщепенцы общества, не благородные мечтатели, не простые, безвестные, неученые люди. Речь эта не была уже протестом униженных, гонимых против гнетущей их действительности.

Это говорили знаменитейшие, ученейшие, наиболее уважаемые люди своего времени, те, которых общество поставило во главе своей, те, которым оно поручило создать ему новый порядок, люди торжествующие, люди дела.

Какое торжество Отщепенства! Какое блистательное оправдание всех этих погибших героев, распятых, сожженных, обезглавленных, побитых камнями за отрицание насилия и лихоимства, за веру в справедливость, в истину, в человечество, за протест против обществ XII Таблиц и феодального нрава!

Жизнь, сама история решила долгий процесс между ними и их гонителями; приговор произнесен: позор и смерть рабству и грабежу, слава и жизнь свободе и равенству!

Навеки незабвенна останется эта эпоха, когда был произнесен подобный приговор. Это была великая и святая минута, когда целый народ устами своих представителей и нравственных вождей решил тысячелетнюю тяжбу принципов. Эра утопий кончилась. Она вела свое летосчисление с той времени, когда впервые, во всей чистоте и ясности, были выражены принципы свободы и равенства. Справедливо, чтобы момент, когда принципы эти перестали быть утопией и восторжествовали в жизни над старым порядком насилия, послужил началом новой веры.

Это был момент, когда с вышины общества, из уст его руководителей раздалась, наконец, та самая речь, которая доселе звучала лишь в катакомбах римских отщепенцев, в тюрьмах инквизиции и в застенках полиции, где казнили отщепенцев феодализма.

«Свобода невозможна, пока есть несчастные, недовольные общественным порядком; а они будут, пока все не будут собственниками, пока будут эксплуататоры и эксплуатируемые. Не должно быть ни бедных ни богатых».

«Бедный стоит выше правительства и сильных земли; он должен повелевать ими... Надо осуществить этот принцип и обеспечить всем все необходимое».

«Богатство — подлость; нищенство — преступление общества. Все должны трудиться и уважать себя».

Это речь христиан, Вальда, Мюнцера, Мора; но ее говорит теперь не отщепенец, не мятежник, не изгнанник, не осужденный — ее говорит Сен-Жюст [1], законодатель, вождь и оратор народа, проконсул республики, представитель правительства. Он говорит ее не палачам, не в следственной комиссии, не на эшафоте, а на трибуне перед лицом целого общества, которое рукоплещет ему и желает себе порядка, основанного на этих началах.

В истории Отщепенства и всего человечества не было минуты, важнее этой. Только одна может сравниться с нею, — это та чудная минута, когда Христос говорил свою нагорную проповедь.

Тогда это было обращение к принципам равенства и свободы религии. В ветхом обществе Рима и религия, и государство, и экономический порядок с своим освященным, узаконенным и организованным рабством были враждебны этим принципам. Христианство явилось победить язычество и принести человечеству добрую весть его освобождения. Оно начало этот трудный подвиг тем, что дало ему религию, основанную на равенстве и свободе, другими словами, обратило принципы Отщепенства в религию.

Но мы уже видели, каким образом религия была побеждена лицемерием; каким образом старый порядок, утвердившись в политическом и экономическом порядке, устоял против силы христианства и как истинным хранителям евангелия пришлось, по-прежнему, быть вне общества и терпеть всевозможные гонения.

Наконец, после почти двухтысячелетней борьбы, Отщепенство одержало вторую победу: оно покорило себе — кого же! — самого лютого врага своего — государство.

Представители государства, диктаторы, проконсулы и легисты, люди декретов и полиции, Неккеры [2] и Тюрго [3], Робеспьеры [4] и Сен-Жюсты проповедают равенство и свободу! Если бы мертвые могли чувствовать, как радостно при этом вздрогнули бы сердца тех, которых некогда, во имя государственного порядка и во имя законной справедливости, растерзали львы на аренах Рима и сожгли монахи на площадях Мадрида! Как содрогнулись бы в гробах своих все эти теоретики и практики насилия, судьи, короли, юристы и политики!

Их потомки, их достойные сыны, кость от костей и плоть от плоти их, изменили рабству и насилию, которым они так честно послужили, и предлагают все оружие политики к услугам безумцев, которых они казнили! Они говорят им: «Вы правы; в вас живет истина; ваши враги — наши враги, а с врагами своими, как известно вашим предшественникам, мы умеем справляться. Отныне мы отрекаемся от того дела, которому служили до сих пор, и представляем в ваше распоряжение весь арсенал наших законов, войск, тюрем, эшафотов, полиции и судов. Вы хотите равенства — вот вам декрет; вы проповедуете свободу — наша полиция к вашим услугам; вы ненавидите насилие — вооружайтесь нашим уголовным правом; вы желаете истребить лихоимца — вот указ и гильотина!»

Таков смысл обещания, данного политическими революционерами жертвам эксплуатации, всем злосчастным классам голодных и неимущих — даровать переворот экономический путем переворота политического.

Новообращенные всегда усердствуют и тем более, чем сильнее прежде гнали то, чему начали служить. Государство и политика стали Савлом нового христианства. Они готовы были на все, чтобы услужить ему. Законы максимума, миллиард налога с богатых, содержание бедных на свой счет, гильотина откупщикам, полицейский надзор за дворянами — всем готовы они были служить своему новому союзнику. Церковь некогда была ими самими развращена и унижена до служения насилию и лихоимству, — и на это указом правительства католицизм навсегда отменен, служители его в тюрьмах и на эшафоте, шпион, вчера доносивший духовенству, нынче доносит на него...

Но здесь-то именно и более чем когда-либо обнаружилась вся непрактичность отщепенцев. Вместо того, чтобы радоваться содействию такого могущественного союзника и подать ему руку, и принять его услуги, отщепенцы более прежнего разошлись с обществом и с его мнением.

Правда, впрочем, и то, что практика этого общества могла также более прежнего оттолкнуть от себя умных и честных людей и что мудрость практических политиков потерпела еще невиданное посрамление.

Люди, в лице которых государство заразилось принципами Отщепенства, сами вышли из рядов утопистов. Можно было бы, кажется, ожидать, что, перестав быть отщепенцами, примирившись с обществом и предприняв среди его практическую деятельность, они в своей политике и посредством ее осуществят в обществе те идеалы, во имя которых отрицали практику старого порядка. Напрасная, вздорная надежда! Они только еще раз и самым блистательным образом доказали, что учреждения старого порядка не могут служить даже орудиями для водворения нового, — и что общественные формы, выработанные вековой практикой насилия и лихоимства, каковы все политические учреждения, несовместны с началами свободы и равенства; другими словами, что политические перевороты, или, вернее, перемещения, никуда негодны, как средство к перевороту социальному, т. е. к утверждению равенства наряду со свободой.

Потомство оценило личные достоинства вождей революции. Едва затихли возбужденные против них страсти, как клеветы рассеялись и замолкли, обвинения были посрамлены, и история воздала должную дань уважения их мужеству, их гражданской доблести, их чести и бескорыстию. Но на деятельности их все-таки остался неизгладимый упрек неопределенности, бессознательности, двойственности и неоконченности. Отщепенство никогда не признает их своими героями. Сильные своими принципами, они речами своими взволновали весь мир, окончательно потрясли старый порядок и открыли последний акт тысячелетней борьбы между насилием и справедливостью. Но, в то же время, они были политиками, людьми государства, практическими мудрецами, и в этом отношении они душой и телом принадлежат старому порядку. В этом отношении они были бессильны и нелепы, как он, как он, посрамлены и осуждены на бесплодность, и не создали ничего, кроме новых форм грабежа и насилия. Отщепенцы были правы, когда в лице Фурье и Прудона отвернулись от этих новых практиков и отвергли всякий союз с политической мудростью, предоставив пользоваться ею грабителям и лихоимцам в новой шкуре.

Несмотря сначала на проповедь религии, потом на отпадение государства, старый мир эксплуатации и насилия остался по-прежнему, только переменив некоторые внешние формы. Законы XII Таблиц, наивное право собственности рыцарей, узаконенный грабеж легистов расцвели в обществе, вышедшем из революции, с прежнею силой в том порядке, который заменил все прежние формы монархии, аристократии и теории под именем Плутократии, т. е. владычества капитала.

Теория плутократии отличается такою же откровенною грубостью, таким же циническим признанием насилия и лихоимства незыблемыми основами общества, как и римское уложение, как и теория феодальной собственности. Послушаем ее теоретиков: мы найдем в них достойных подражателей всех проповедников грабежа древних и средних веков.

«В каждом государстве, — говорит Монтескье [5], — всегда есть люди, отличенные богатством, рождением или почестями. Если бы они были смешаны с народом, если бы голос их не имел силы — общая свобода была бы их рабством. Им было бы невыгодно защищать ее, потому что все решения народа были бы большею частью направлены против них. Следовательно, размеры участия их в законодательстве должны соответствовать размерам других преимуществ их: они должны составлять особое сословие, которое имело бы право останавливать предприятия народа».

По поводу этого вопиющего возведения факта лихоимства, неравенства и насилия в учение и в идеал один писатель говорит:

«Только в глубокой древности можно найти примеры законодательств, основывающих право на привилегии. Такой пример представляют касты. Индия спрашивала себя, отчего существуют на свете брамины, ктатрии, вайзии, судры и презренные парии, и на вопрос этот отвечала тем, что обратила необъяснимый факт в религиозный догмат. С тех пор прошло 50 веков, и ни один законодатель не обращал в идеал факт и привилегию».

«В Индии буддизм, за десять веков до христианства, восстает против факта во имя права, отрицает касты и уничтожает их. За пять веков до Будды, Моисей выводит из Египта, страны каст, евреев, этих египетских париев и, во имя Бога, дает им законодательство, где человеческое равенство сияет, как лучезарное солнце, от которого все исходит. В Греции Минос [6] делает то же. Ликург [7] воскрешает реформу Миноса, и по следам его идет Солон [8]. Равенство, священное начало дорийских обществ, проникает к дикарям Лациума [9] вместе с религиозным культом Нумы [10]. Все древние народы знали добродетель, знали право, единственное основание которых есть понятие равенства. Наконец пришел Христос и поставил бессмертным идеалом общее братство человеческого рода и распространил божественное начало равенства на все племена и народы».

«Возможно ли теперь законодательство, совершенно чуждое идеалу, который человечество столько веков разрабатывает, которым оно живет?»

«Да, такое законодательство существует. Из грабежей средних веков вышло такое законодательство, отвергающее идеал и признающее только факт».

«Английская конституция не признает права; для нее право — факт».

«Английская конституция не признает равенства; напротив, — она освещает неравенство».

«Английская конституция не признает добродетели; она признает лишь привилегии» (П. Леру) [11].

И вот английская конституция, высшее выражение плутократии, сделалась образцом и целью грабителей, плутов и лихоимцев всех стран света!

И вот это чудовище явилось, после разрушения феодального общества, овладеть его наследством и на развалинах его утвердить свое гнусное могущество!

Плутократия нелепее и возмутительнее аристократии. Феодальный грабитель мог, указывая на свою добычу, сказать по крайней мере: «я приобрел это своим кулаком, ценою тяжелой борьбы, с опасностью жизни, рядом ночей, проведенных в засаде, рядом дней, проведенных в боях».

Но что скажет о своей добыче барон капитала, плутокрот? Может ли он чем-нибудь объяснить, не говоря уже, оправдать свое владение? Может ли он, по примеру аристократов, сказать: мои предки добыли это своею кровью; вот почему я владею этим, и если не все земли принадлежат нам, аристократам, то это потому, что у нас несправедливо оттягали их. Но плутокрот, нажившийся без трудов и опасности, что ответит он, если у него спросят, откуда у него богатства, владения, привилегии, власть? Вышел ли он из благородных уст Браммы или помазан на владычество священным елеем? Добыл ли он себе эти *spolia opima* {34} в открытом бою, лицом к лицу с врагом, или первый водрузил свое знамя на необитаемых землях, открытием которых распространил владения человечества?

Нет! Плутокрот — скептик, атеист, волтериянец: он не верит ни в Брамму, ни в елей. Нет, нравы его мирны, он враг войн и сражений; он называет завоевание разбоем, а что касается до открытий, то Колумбы не родня ему, и он открывает только свои конторы и лавки в странах, открытых другими.

Кроме обмана, эксплуатации, плутовства и лихоимства, ему не на что указать, как на источник богатства и власти, и потому он предпочитает умалчивать вовсе об источнике и просто говорить: «Я хочу грабить».

Плутократия — царство бездельников, плутов, разбогатевших бесчестными средствами и в обществе столь же диком и анархическом, как то, которое в VI и VII веках вышло из лесов Германии, но где плутня заменила насилие, а мошенничество — открытый разбой на большой дороге. Как всякое анархическое общество, где учреждения взаимности и гарантисма не обуздывают первобытные варварские явления борьбы за существование, современное общество представляет собою вечную вражду угнетенных и угнетателей. Угнетатели — это рыцари меркантилизма, феодалы торгашества, сеньоры капитала, бездельники и плуты. Угнетенные — те же рабы, крепостные под именем пролетариев. Пролетарии, по словам одного писателя плутократии, это все те, «кто живет тяжелым поденным трудом своих рук. Вчерашний заработок — вот все, что они имеют сегодня. Люди, не имеющие поземельной собственности, которые никогда не будут иметь ее, которым не смеют даже обещать ее; люди бедные, темные, лишенные наследства, переходящего от

отца к сыну; люди, вся потомственная традиция которых состоит в необходимости зарабатывать себе каждый день насущный хлеб; люди эти — пролетарии, а состояние их — пролетариат. Сюда принадлежат: 1) работники, 2) нищие, 3) воры и 4) публичные женщины. — Работник-пролетарий зарабатывает себе, и то не всегда, кусок хлеба насущного. — Нищий-пролетарий не может или не желает работать и выпрашивает себе кусок хлеба насущного. — Вор-пролетарий не желает или не может работать и не просит милостыни, а ворует кусок хлеба насущного. — Публичная женщина-пролетарий не может или не желает ни работать, ни просить милостыни, ни воровать, а добывает кусок хлеба проституцией».

Так рассуждают писатели плутократии, и, конечно, они правы. Да, вот они, эти работники — пролетарии, рабы, крепостные люди, вся судьба которых представляет ряд невозможных, по-видимому, противоречий. Они работают и ничего не имеют, ничего не имеют и, в то же время, служат жертвой постоянного, каждодневного и каждочасного грабежа. Они содержат общество и находятся в глубоком презрении. На них паразитами живут наука, искусство, роскошь, все чудеса цивилизации, а сами они, ее кормильцы, погружены в безвыходное варварство и в мрачную грязную нищету. Рабочий кормит общество, кормит правителей, ученых, литераторов, художников, судей, духовенство, войско и палача. Публичная женщина принимает на себя все грехи этого общества, спасает честь его жен и дочерей, спасает их добродетель, дает существование семье, потому что без нее семья была бы невозможна: дикие страсти анархического общества давно уничтожили бы ее в общей оргии разврата. Без нее ничто не оградило бы чести женщины. Публичный дом — такое же необходимое учреждение в анархическом быте цивилизации, как суд, как тюрьма, как богадельни и приюты.

А нищий и вор? Нищий — идеал христианства, идеал святой жизни по св. Франциску. Вор — человек, который видит, что все просвещенные, мудрые, высокие люди живут не трудясь, на счет бедных, на счет собратьев его, и который хочет следовать их примеру, на свой страх и риск, жить по образцу их хотя и не тем безопасным, легальным воровством, которому они обязаны своим существованием, а воровством запрещенным, незаконным.

Да, мораль высоких бездельников, мораль плутократии, эта насмешка над моралью, клеймит нищего и вора, преследует их своим презрением и судом. Но мораль эта — не мораль пролетариев. Бездельники сами поставили себя в такое положение, что у них ничего не может быть общего с пролетариями, — даже нравственности. Иное дело нравственность сытого, обеспеченного бездельника, иное дело мораль голодного пролетария. Пусть первая будет возвышеннее, просвещеннее, утонченнее, она не то, что вторая. В глазах плутократов воровство и нищенство пролетариев бесчестны и презренны. Но в глазах пролетария — нищенство, единственное для него средство выйти из глупого положения работника на чужие желудки, из положения белки в колесе. Воровство же для него — единственно возможная для него форма личного, единичного протеста против эксплуатации. Весь смысл современной истории — в этой борьбе плутократии с пролетарием, как прежде в борьбе других угнетенных против других угнетателей. Каждый пролетарий, по самому положению своему, — отщепенец современного общества, сознательный или бессознательный. Сами плутократы сознают это, когда говорят, что пролетарий тот, кому нет места на пире жизни, т. е. другими словами, тот, кто стоит вне общества, за флагом, за порогом того дома

разврата, где пирует высшее общество. У пролетария нет ничего общего с классом плутократии, не только в социальных условиях его быта, но и в понятиях, интересах, взглядах, желаниях, верованиях и надеждах. Общество, т. е. сословие жуирующее, насаждающее искусства и науки, разглагольствующее о нравственности и истине, совершенно чуждо пролетарию, у которого своя особая вера, особая нравственность, особая истина и особые упования. Как древний христианин смотрел с ужасом на каждого, кто не разделял его веры, не разбирая честного от подлеца, виновного от невинного, мудрого от глупого, и смешивал в своей святой нетерпимости Платона и Плиния с последним палачом, с последним лживым авгуром [12], так и пролетарий считает равно виновными, равно бесчестными и вредными всех, кто питается чужим трудом, кто живет не работая, кто мудрствует, просвещается, наслаждается и прославляется на счет его, вечно голодного, вечно ограбленного пролетария, будь он первый ученый, первый поэт своего времени. Так точно смотрит на женщин плутократии публичная женщина, равно презирая с высоты величия своего доблестного, смелого разврата всех этих непорочных девственниц и целомудренных жен.

Да, каждый пролетарий — истинный отщепенец плутократии, т. е. современного общества. Всякий необходимо должен быть отщепенцем, по логике своего положения, но много уже есть и таких, которые сознательно отщепенцы. Так, напр., когда, по примеру Монтеские, все европейские общества благоговеют перед высшей формой плутократии — английской конституцией со всеми выработанными ею явлениями в роде науки, как политическая экономия, философия — как позитивизм и т. д., в самой Англии пролетарии, простые работники, старики и отцы семейств, осужденные на казнь за покушение ниспровергнуть эту пресловутую, блаженную, великую конституцию, говорили в глаза своим судьям такого рода profession de foi{35} Пролетариата: «Милорды! Меня спрашивали, что могу я сказать, чтобы отвратить от себя выполнение произнесенного надо мною смертного приговора. Считаю этот вопрос насмешкой. Если бы я мог привести самые неопровержимые доводы и говорить с Цицероновским красноречием, то мстительность лорда-канцлера Сидмута и лорда Кестльри может утолить только поток крови, текущий теперь в моем сердце. Это сердце трепещет энтузиазмом при идеях чести и патриотизма, неизвестных тем привилегированным изменникам нашего отечества, которые с наглым бесстыдством поработают его себе и владычествуют над жизнью и имуществом державного народа. Я объясню вам мой образ действия, но заранее предупреждаю, что не имею ни малейшей надежды на ваше правосудие и честность. У вас правосудие утонуло в честолюбии и в раболепии, служащем честолюбию. Что касается до вашей честности, милорды, — я презираю ее. Не вздумайте предложить мне ваше милосердие; я желал бы только правосудия, если бы мог предполагать его в вас».

«Прежде всего я протестую против процесса в том виде, как вы вели его против меня. Судьи, которых обыкновенно считают у нас защитниками обвиненных, в процессах между народом и короной всегда бывают адвокатами второй, непримиримыми врагами первую».

«Еще несколько часов — и меня не будет. Но ночной ветер, веющий над могилой, где буду я покоиться, пахнет в окна ваших дворцов, застучит ставней вашей спальни, и дыбом встанут у вас волосы и беспокойно будете метаться вы на ваших пуховиках при страшном воспоминании о том, кто жил для родины и умер за нее, когда свобода и правосудие были

изгнаны из ее пределов шайкой злодеев, кровожадность которых превосходит лишь алчность их».

«Мне не жалко жизни. Но пока она еще во мне, я скажу несколько слов против клевет, которыми, я уверен, вы будете преследовать мою память. Я скажу, что побудило меня составить заговор против королевских министров и сравню мои побуждения с теми, которые руководят этими министрами в намерении погубить меня».

«Многие, кому известен подлый грабеж, которому я подвергся от лорд-канцлера Сишута, подумают, пожалуй, что я руководствовался личной ненавистью. Протестую против этой мысли. Цель моя была — благо родины. Все честолюбие мое ограничилось желанием счастья моим голодным соотечественникам. Да, я сочувствовал их нищете. Но когда над ней насмеялись, когда болезненное чувство их было безжалостно попрано грубым насилием, — тогда я не мог сдержаться. Мстить решился я тогда, и из вопля убийц сделать Requiem {36} за души зарезанных невинных жертв! Государственная измена была совершена против несчастного манчестерского народа. Правосудие не вняло мольбам безжалостно искалеченных, убиваемых. Принц-регент, по совету своих министров, благодарил убийц, еще дымившихся кровью жертв. Если бы в груди англичан тлела хоть искра чести, независимости, они восстали бы, как один человек. Восстание стало бы обязанностью гражданина, и кровь жертв сделалась бы зунгом мести убийцам».

(Верховный судья лорд Аббот прерывает оратора, но он продолжает:)

«Альбион [13] лежит в узах рабства; я покидаю его без сожаления; придет день, когда могиле моей будут молиться и поклоняться станут праху моему; но тело мое перейдет в землю, из которой вышло. Я скорблю только о том, что земля эта еще долго будет ареной рабов, мошенников и деспотов. Потомство оценит мои побуждения. Убивайте же меня, милорды, ибо, повторяю, правосудия я от вас не жду, а помилования не возьму» {37}.

И сказал за ним Джемс Айнгс:

«Слуги Е. В. составили заговор против нас прежде, чем мы против них; они предписали нам законы, обрекавшие меня, мою семью и моих соотечественников на голодную смерть, и если я хотел зарезать этих министров, то, милорды, это все-таки лучше, чем принуждать людей умирать с голода. Манчестерская милиция кинулась на нас и била наших жен и детей. Она обнажала свои мечи, мы обнажали свои. Я умру, сомнения нет; но надеюсь, что дети мои будут жить и увидят, наконец, правосудие в окровавленном своем отечестве».

Так говорили эти отщепенцы перед медными лбами и каменными сердцами тиранов плутократии. И их казнили, и не дрогнула земля, и народ не восстал, как один человек, и не разнесли вдребезги эту чудовищную систему тирании, и не заклеямили клеймом богоубийц этих бездушных злодеев, убивших правозвестников божественной истины и с спокойной, холодной самоуверенностью говоривших:

Кровь их на нас и на детях наших!

Что же это! Неужели же человечество вышло из варварского грабежа только для того, чтобы очутиться в грабеже цивилизованном? Неужели только для того перестали резать его, чтоб начать душить? Неужели не будет конца царствию лихоимства и насилия? Неужели не явится ни мститель, ни спаситель?!

Этому измученному, разочарованному, готовому впасть в отчаяние человечеству нужен человек или бог, который вдохнул бы в его разбитую грудь живительный дух новой веры; который указал бы ему новый светлый идеал, лучезарный маяк, куда с новою энергиею обратились бы стремления народов; который дал бы ему силу веры и надежды в борьбе с этим безысходным несчастьем, в тяжелых мытарствах его в заколдованном круге лихоимства и насилия!

Этому оскорбленному, опозоренному человечеству нужен человек или демон, который поразил бы священным огнем гениального гнева тысячелетнее зло; который поставил бы к позорному столбу гнусную плутократию и каленым железом отметил бы ей на лбу память ее преступлений; который низверг бы в грязь развратницу и призвал бы людей водрузить на трупе ее знамя равенства и свободы!

Но где эти люди? Где верующие в искупление народа от грабежа и насилия плутократии, этой фурии цивилизации?

Эти люди, эти верующие — социалисты, которые вели и будут вести борьбу за освобождение самого многочисленного и бедного класса рабочих. Эти бойцы — апостолы XIX века. Несмотря на видимое разнообразие школ, на которые распадался Социализм, тем не менее значение и направление их одно и то же. Все социалисты проповедуют свободу, равенство и братство, все восстают против плутократического порядка, все отрицают его единодушно и, во имя народа, во имя его права и достоинства, все желают и требуют прекращения грабежа и насилия.

«Социализм, — восклицал Прудон, — не спускает глаз с капитала!» Другими словами, Социализм защищает права рабочего народа и предупреждает лихоимцев, тунеядцев и всех вообще вампиров-плутократов, сосущих его кровь, чтобы они были осторожнее.

Социалистов не запугает нечистая сила богатства! Они веруют в правду своего дела и потому не боятся угроз шайки негодяев, у которых «на лицах наглость, в сердце страх».

«Вспомните, — говорил Иоанн Златоуст людям IV века, — вспомните, сколько христиан приняло венец мученичества! Их убивали, пытали, бросали скованных в темницы, как последних преступников, изгоняли из отечества, преследовали, как диких зверей, и лишали их всего, что дорого человеку. Мечи обнажались, кровь лилась, власти бесновались и придумывали для христиан самые страшные казни и мучения. И что же? Не взирая на все это, верующие во Христа были непоколебимы и тверды, как скалы. Они желали лучше подвергаться всяким истязаниям и мукам, чем жить по примеру подлецов и преступников. Так вели себя не только мужчины, но и женщины. В этой борьбе за правду женщины часто даже превосходили мужчин своим геройством. И все они, эти славные мученики, обессмертили свои имена. Но кроме их, мучениками следует назвать и всех тех, которые

страдают от людской злобы».

Как христиане были отщепенцами римского мира, так точно являются и социалисты отщепенцами старой европейской цивилизации. Как те, так и другие — люди верующие, ведущие борьбу с лицемерием и подлостью.

Пятнадцать веков после Иоанна Златоуста Прудон писал из тюрьмы:

«Пусть власти составляют заговоры против народов;

Пусть антихрист-папа проклинает свободу;

Пусть республиканцы падают под ударами штыков и умирают под стенами городов;

Но равенство, свобода и братство остаются все-таки идеалами общественного устройства!

Да, социалисты, мы побеждены, унижены, обезоружены, скованы и заключены.

Но, социалисты, разве мы перестали быть людьми будущего? Разве мы потеряли веру в себя и в свое дело?

А вы, малодушные и кровожадные плутократы, вы лицемеры и подлецы семейства и собственности! Спокойно вам теперь живется? Весело празднуете вы свою победу? Я слежу за вами, люблюсь вами, и что ни слово, что ни жест ваш — я говорю: вы пропали!»

Плутократия — вонючий труп старого общества, труп, над которым социалисты производили самые поучительные опыты, наблюдения и научные исследования.

В этом отношении социальной науке полезнее всех были примерные отщепенцы — Фурье и Прудон.

Фурье

Фурье принадлежит бесспорно к числу самых замечательных и редких мыслителей нашего века. Одаренный глубоким нравственным смыслом и проницательным умом, он рано понял всю гнусность старого общественного порядка и стал в ряды непоколебимых отщепенцев.

Фурье провел всю свою честную и полезную жизнь почти в совершенном одиночестве. Такая жизнь, конечно, развила в нем идеализм и заставила его мечтать о создании нового общественного порядка, который дал бы гармоническое развитие всем способностям и страстям человека.

Не говоря о плане этого нового порядка, который практические мудрецы или, вернее, глупцы называют фантастическим, заметим, что Фурье, как отщепенец, любил парод и защищал его права.

Фурье раньше всех провозгласил право на труд, без которого нельзя обеспечить участи самого многочисленного и бедного класса людей.

Фурье раньше всех заговорил об ассоциации, конечно не подозревая, что практики исказят его здравую мысль.

Фурье громче и разумнее всех ратовал за свободу женщины и первый объявил, что без этой свободы нет прогресса.

За все это Фурье заслуживает бессмертную славу.

Этот образцовый отщепенец прославил себя также критикой цивилизации, которую он искренно презирал и ненавидел.

После переворота 1793 года иллюзии рассеялись: политические и юридические теории опошлись, и к ним окончательно потеряли всякое доверие. С тех пор стало ясно, что нельзя ожидать никакой пользы от старых учений, что надо искать общественного блага в какой-нибудь новой науке и открыть новые пути политическому и социальному развитию. Стало очевидно, что ни политики, ни законодатели не умели помочь общественным бедствиям и что самые постыдные язвы, между прочими и нищета, не перестанут существовать, пока не падут все старые учения.

«Это соображение навело меня, — говорит Фурье, — на мысль об общественной науке, которой даже не подозревали. Во мне зародилось желание открыть ее, и я не побоялся привести его в исполнение. Я мечтал только о славе сделать такое открытие в области науки, какого даже не грезилось мудрецам-практикам».

«Бодро выступил я на этот новый путь и стал разоблачать заблуждения веков и в особенности бедствия общественной жизни: нищету, воровство-мошенничество, торговый монополизм и многие другие язвы, которые заставляют считать цивилизацию наказанием самой природы».

«Я пришел к тому убеждению, что, если человеческие общества страдают, но мнению Монтескье, „изнурительною болезнью, внутреннею язвою и заражены скрытым ядом“, то излечить их можно не иначе, как сойдя с того пути, по которому шли наши практические мудрецы в течение стольких веков. На этом основании, я поставил своим правилом: безусловное Отрицание и безусловное Отщепенство. Надо определить эти два метода, потому что до меня никто еще не давал им полного, всестороннего развития».

«1) Безусловное Отрицание. Декарт понимал его. Но восхваляя и проповедуя отрицание, он прилагал его частным и неуместным образом. У него являлись смешные сомнения. Так например, он сомневался в собственном существовании и только мудрил над старыми, избитыми софизмами, а не заботился об открытии полезных истин».

«После Декарта [1], метод отрицания совсем искажается».

«Лжеотрицатели пользовались им только в тех случаях, когда старались подорвать веру в такие учреждения, которые им почему бы то ни было не нравились. Так например, они отвергали не суеверие, а только обрядность, потому что враждовали с духовенством. Но при этом они ни за что не решались подрывать доверия к тем системам и теориям, юридическим и политическим, которыми кормились».

«Не имея ничего общего с этими шарлатанами, я решился отрицать безразлично все ходячие, рутинные теории и стал смотреть подозрительно даже на то направление мыслей, которому вообще сочувствовали. С отвращением и презрением смотрел я на современную цивилизацию, на этот идол практических мудрецов, который они так страстно обожают».

«Что может быть нелепее этой цивилизации, которая порождает и развивает столько бедствий и страданий! Что может быть сомнительнее ее пользы!»

«Нет, следует непременно отрицать цивилизацию, следует сомневаться в ее необходимости, в ее совершенстве, в ее прочности. Но на такое отрицание не способны философы рутины. Они не способны, потому что, отрицая цивилизацию, стали бы обличать, вместе с тем, и ничтожество своих теорий, неразрывно связанных с цивилизацией. Эти теории пали бы тотчас под ударами отрицания, и на развалинах их появилась бы новая наука, наука общественного благосостояния и правды».

«Практические мудрецы и ученые осуждены лгать, лицемерить, тупеть и пошлеть, потому что не помышляют об интересах общества и о научной правде, а желают только поддержать суеверие и невежество и обеспечить свое тунеядное существование. Вот почему они обходят молчанием все важные общественные вопросы или, еще хуже, искажают их значение самым плутовским образом».

«Мне не приходится защищать обман и насилие. Я не принадлежу к партии практических мудрецов, и потому могу смело отрицать цивилизацию с ее пагубною ложью и коварством».

«2) Безусловное Отщепенство. Я отлучаю себя сознательно и добровольно от всех партий старого порядка, от всех политических и философских школ, которые не оказали обществу никакой полезной услуги и только всегда держали его в пеленках детства и скудоумия. Несмотря на все чудеса промышленных изобретений, нищета рабочих остается неизлечимой и хронической болезнью общества. Вот почему я не доверяю учению экономистов, прославляющих современную промышленность, и презираю их надутый либерализм. Они неспособны создать экономическую науку, и на всех писаниях их лежит печать умственного бессилия. Настоящие вопросы общественной жизни их не занимают, и они поют только старые песни на новый лад».

«Я отлучил себя от рутины. Меня не волнуют интересы старого государственного порядка. И не стану я трактовать о правах королей, об обязанностях министров, судей и палачей. По сие время все практические мудрецы постоянно добивались общего блага путем законодательных, административных, судебных и полицейских мер. Но я отрицаю пользу всех подобных мер и признаю действительными только те реформы, которые ведут к улучшению быта рабочих и не требуют вмешательства властей, как светских, так и духовных».

«И вот, на безусловном отрицании всех старых понятий и предрассудков, на безусловном отщепенстве от рутины я строю здание новой общественной науки, непонятной нашим практическим мудрецам».

«Цель моя — не исправлять цивилизацию, а обличать ее и возбуждать желание организовать новый общественный порядок. Практика цивилизации нелепа в целом и в частностях. И что же? Новомодники, вместо того, чтобы размышлять, все более и более погружаются в политическое безумие. Лучшим доказательством этого могут служить последние бредни их о чудесах торгашеского духа, против которого восстают и разум, и природа».

«Природа никогда не ошибается в тех общих побуждениях, которые она дает человечеству. Когда большинство народов презирает торгашество, когда презрение это внушается ему естественным инстинктом, то поверьте, что в предмете, вызывающем такое чувство, таится какая-нибудь пакость».

«Кто прав: новомодники, уважающие торгашество, или древние, презиравшие торгашей, *Vendentes et latrones*, торгашей и воров, говорит Евангелие, считавшее их за одно. Так думал Иисус, который бичом изгонял купцов из храма, приговаривал: «Вы обратили дом мой в воровской притон». «*Fecistis iam speluncam latronum!!*»

«Как Иисус, так и все древние приравнивали купцов к ворам и поручали их заодно покровительству Меркурия. В это время торгашество считалось почти бесчестием. Златоуст говорит, что „купец не может быть приятен Богу“. Итак, купцам нет места в царствии небесном, хотя там есть представители всех сословий и даже один прокурор, именно Св.

Ив.»

Я упоминаю о всех этих подробностях, чтобы яснее показать взгляд древних, с которым хочу сопоставить воззрения современников. Я далеко не разделяю мнения древних: истреблять и преследовать купцов так же нелепо, как нелепо и превозносить их до небес. Но из этих двух нелепостей взгляд древних, по-моему, несравненно разумнее.

«Древний предрассудок, обрекавший торгашество презрению, господствовал долго. Еще в 1788 году школьники в ссорах своих обзывали друг друга купеческим сыном, и это считалось жестокой обидой. Этот дух господствовал особенно в провинциях; дух же торгашества был сосредоточен в портовых городах и в столицах, где живут знатные банкиры и великие барышники. Только в 1789 году купцы вдруг обратились в полубогов: подлые ученые громко стали защищать и прославлять их, как полезных граждан».

«Итак, вначале торговля была в общем презрении и заслужила уважение в глазах ученых, когда обстоятельства дали ей торжество. С тех пор, как откупщики и разные подрядчики стали разъезжать в каретах шестериком, ученые восхваляют их добродетели и пожирают их обеды. Прежде философы занимались раскапыванием разной старины и религиозными ссорами, не обращая внимания на торговлю. Наконец они увидели, что новая политика торгашества и монополия может дать им материал на множество толстых томов и успех в обществе. И вот появляется шайка так называемых „экономистов“, которые в самое короткое время успели уже известить бездну бумаги и обещают пероблудствовать без конца».

«По обычаю всех софистов, эти мнимоученые стараются как можно больше запутать дело, чтобы иметь возможность заводить полемику и, по этому поводу, без усталости строчить, живя на счет своих читателей. Можно сказать, что экономисты не только ничего не открыли, но даже сами не знают, о чем толкуют и к чему существует их так называемая наука. Но им, впрочем, какое дело? Типографские станки все терпят, книги раскупаются, и цель пероблудия достигается».

«Не спрашивайте экономистов, чего они хотят, чего добиваются и предполагают ли бороться против политических зол, против возрастания налогов, грабежа крючкотворцев, увеличения армий, развития банкротства и фискальной подлости. Не спрашивайте их, потому что, со времени появления на свет экономических теорий, все эти бедствия быстро возрастали. Не лучше ли было бы поменьше строчить вздора и побольше хлопотать о разрешении существенных вопросов? С какой стати решились экономисты восхвалять ложь, т. е. торгашество? Что такое торгашество? Ведь это ложь со всеми ее принадлежностями: банкротством, ажиотажем, лихоимством и плутовством всякого рода. Но политическая экономия набрасывает покров на эти скандалы. Где же причина такого бесстыдства?»

«Решившись восхвалять торгашество, экономисты мерили все только на вес золота. Они видели, как быстро наживаются торгаши, как ловко умеют они обманывать и безнаказанно грабить, сохраняя вид приличия и пускаясь на самые подлые увертки. Конечно, всякий осел может в один месяц изловчиться и обратиться в искусного торгаша. Но, при всем том, роскошь лихоимцев и спекуляторов, которые соперничают с аристократами и сановниками, обольстила экономистов, а надежда поживиться заставила их подличать перед толстыми

карманами. Плутусы торгашества поразили их своим величием, и вот они стали холопами барышников».

«И как, право, не удивляться лихоимцам, которые...

“ Sachant pour tout secret

Cinq et quatre font neuf, ôtez deux — reste sept. (Boileau)».

Зная по секрету, что пять плюс четыре — девять, а если от этого отнять два — останется семь (Вуало [5]) (фр.).

«При помощи такого знания, они умеют наживать дома и дворцы в тех самых городах, куда пришли в лаптях. В столицах они ведут самую роскошную жизнь, ни в чем себе не отказывают, даже в знакомстве с экономистами. На обедах у какого-нибудь торговца экономист сидит рядом с архиепископом и посланником. Как же не прославлять ему таких кормильцев!»

«В цивилизации правдой не проживешь! Малодушные экономисты преклонились перед золотым тельцом и не смеют написать ни страницы без лести торгашеству».

«А между тем они могли бы возратить себе утраченное уважение общества, если бы захотели обличать разбой торговцев, которые презирают их».

«Разбор торгового разбоя покажет, что сословие торговцев — просто шайка пиратов, стая коршунов, пожирающая промышленность и земледелие и порабощающая себе все общество».

«В оправдание их можно сказать, что они не понимают, до чего они вредны. Но даже если бы и понимали, то можно ли обвинять их, когда они поступают по всем правилам цивилизации, обратившей общество в арену грабежа, обмана и насилия?»

«Торгашеский дух развращает политику и нравы народов, как доказывают примеры Карфагена и Англии. Вероломная политика их, *rupica fides*{38}, вошла в пословицу. Жидов, образцовых торговцев всех стран и народов, верно характеризует один писатель. «Они рыскают, — говорит он, — по Лондону, подстрекая слуг обкрадывать хозяев, и платят фальшивыми деньгами за краденные вещи».

«Тоже говорит другой автор об армянах: «Армяне скрытны, подлы, коварны, пускаются на всякий обман и плутню. Им все с руки, все ни почем — унижение, презрение, оскорбление, лишь бы достичь своей цели. Даже религия для них орудие лихоимства и обмана. В России они православные, в Персии — они правоверные» и т. д.

«Конечно, это относится не в одним жидом и армянам, а ко всему торгашескому сословию: жиды и армяне только представители торгашеского духа в каждом народе.

«Паук — эмблема цивилизованной торговли».

«Надо постоянно беречься паука, который всегда готов завладеть каждым углом, оставленным хоть на сутки без внимания».

«Торгаш также водворяет свою лавку или свой магазин всюду, где только может — в самых грязных улицах, у самых великолепных памятников; стоит только не присмотреть за каким бы то ни было местом, чтобы завтра же там появились торгош и паук».

«Лавка и паутина представляют в различных видах своих все переходы от прекрасного к безобразному: одни грязны и отвратительны, другие блистают чистотой, порядком и симметрией. И здесь, и там остроумный механизм проволок и звонков извещает хозяина о прибытии постороннего».

«Хозяин, — торгош или паук, — проводит всю жизнь в углу своей лавки или паутины. Уши и глаза его постоянно настороже: он смотрит, прислушивается; в этом все его дело».

«Лавка воздвигнута, паук уселся на свое место. Горе неосторожному, двуногому или многоногому, кого роковая судьба приведет в его паутину. Едва вступил он на нее, хозяин уже знает это, и участь пришлеца решена. Торгош или паук кидается на него, хватая добычу, обволакивает ее слизистыми нитями или медовыми речами. И опутав его члены или рассудок, они погружают ему в сердце или кошелек свое жадное сосало».

«Тогда они принимаются сосать и сосут, пока не высосут все, и затем с пренебрежением отворачиваются от этого бескровного трупа, от этого пустого кармана».

«У паука голова покрыта глазами, громадное брюхо, длинные, крючковатые лапы; но груди, сердца нет. Паук пожирает подобных себе; самка жрет самца и детенышей. Торгоши также ведут друг с другом вечную войну, не щадя ни родных, ни соотечественников; толстые всегда пожирают тощих».

«Труд паука и торгоша состоит в том, чтобы раскидывать паутину и хватать добычу; от этого труда они жиреют на счет других, но для общества труд их бесплоден; на что годна паутина?»

«Цивилизованная торговля — паук; а промышленность — муха, которую она сосет, истощает и убивает. А между тем секта экономистов неистово кричит: „Дайте полную свободу купцам“, *laissez faire les marchands!*»{39}

«Торговля грабит общество и порождает в нем множество самых возмутительных преступлений, которые ускользают от законного преследования. Самые очевидные и гнусные преступления торгошества заключаются в банкротстве, кулачестве, ажиотаже или лихоимстве и паразитизме или тунеядстве».

«1) Банкротство грабит общество в пользу купцов, которые ничем почти не рискуют, ничего не теряют. Расчетливый торгош вычисляет заранее, сколько он должен брать процентов, чтобы барышами обеспечить себя на случай несостоятельности. Если же купец нерасчетлив или крайне плутоват (эти два качества в торговле очень сходны), то он не замедлит сам вознаградить себя банкротством и вернуть все, что потерял от двадцати других банкротств.

Таким образом весь ущерб наносится одному лишь обществу, а купечество благоденствует».

«2) Кулачество грабит общество возвышением цен скупленных товаров и продуктов, заставляя потребителей платить огромный налог».

«3) Ажиотаж грабит общество отвлечением капиталов от производства на биржевую игру. Фабрики, заводы и все ремесла, нуждаясь в капиталах, принуждены доставать их за страшные проценты».

«4) Паразитизм, т. е. тунеядство, вследствие размножения непроизводительного класса торгашей, грабит общество двояко: уменьшая число рабочих рук и побуждая купцов и лавочников вести междоусобную войну, в которой сильные давят слабых и добиваются монополии продажи. Торговая конкуренция развивает обман, подлог, гнусное шарлатанство и вызывает умышленную подделку и порчу товаров и, в конце концов, разрешается банкротством и монополем».

«Такова цивилизованная торговля в общих своих чертах. Очевидно, что она требует обуздания. Дело в том, что всякий торгош, который сам не производит и не потребляет вещей и товаров, должен считаться ответственным их хранителем, а вовсе не полновластным собственником. Все купцы и вообще торговые посредники должны подчинять свои действия общей пользе, а не заниматься мошенническими оборотами, которые страшно вредят обществу».

Для обуздания торговой конкуренции, Фурье думает, что полезно брать с купцов, кроме пошлины за право торговли, известный денежный залог и ежегодно его увеличивать. Этою мерою достигается та цель, что число торгашей с году на год будет уменьшаться, а чем их будет меньше, тем легче за ними уследить и обуздать их. Денежный залог купца, кроме того, может идти на уплату его долгов в случае несостоятельности.

Фурье всегда возмущался, что торгашам, неспособным или нежелающим работать, дается право воровства-мошенничества, между тем как беднякам, которые просят работы, не хотят даровать право на труд. Все для мошенников и воров, а ничего для рабочих! Вот до чего дошла цивилизация!

«Цивилизованные народы! Отчего ваши общества и учреждения уничтожаются так быстро и часто. Вы жалуется постоянно на непрочность своих созданий. Перестаньте приписывать времени и случаю эти перевороты; они происходят от несостоятельности и неуместности ваших социальных систем, которые не упрочивают за бедным ни труда, ни средств к жизни».

«Человек имеет право есть, право, которого никогда не хотели признать за ним философы и законодатели. Они не смеют отрицать принцип, что кормиться следует только трудом рук своих, В таком случае член общества, способный трудиться, имеет право на труд, и, заставляя его работать, чтобы жить, общество обязано дать ему работу, за неимением которой он может, как дикарь, брать все, что не попадется ему под руку. На это философы отвечают, что нет больше работы, нет больше земель для возделывания, нет заказов на фабрике; следовательно, он должен обходиться без еды и умирать с голода вместе с женою

и с детьми во имя прогресса прогрессивной цивилизации. Эти несчастные негодуют, отказываются умирать голодной смертью и думают но без основания, что общество и правящие им ученые должны были бы отыскать способ назначить людям, оставленным без работы, необходимые средства для пропитания. На этом основании они идут и стараются разжалобить прохожих и вымолить подаяние. Власти хватают их и внушают им, что нищенство преступно и потому наказывается. Страх голодной смерти или тюремного заключения побуждает более смелых и решительных заниматься просто воровством. Их тоже хватают и вешают за то, что они пожелали пользоваться правом жить, правом, которого не оспаривают ни у одного из существующих животных, потому что никогда не вели процесса с собаками и с кошками за то, что они едят, когда захочется, да еще даром, между тем как голодные бедняки предлагают за это свой труд».

«Чудный результат цивилизации! Человека запирают и тащут на виселицу, когда он хочет пользоваться самым постоянным из своих прав — кормиться, работая. И в таком-то обществе шарлатаны науки смеют говорить о гарантиях, балансе, равновесии!»

«Очевидно, что цивилизация так бедна средствами, что не может и думать выполнить условия общественных и личных гарантий и обеспечить право на труд».

Прудон

Прудон родился в 1809 году в г. Безансоне, где родились также Фурье и Виктор Гюго.

Отец Прудона был бочаром, а мать кухаркой; они имели пятерых детей и жили в крайней бедности.

«Кто беден, тот мне родня», — говорил всегда Прудон, и сам жил и умер бедняком в 1865 году. Вот что писал он в 1837 г., когда вступал на поприще общественной деятельности:

“ «Я родился и воспитался в среде рабочего народа; с ним делил я радость и горе; с ним жил умом и сердцем. Цель моей жизни — работать без усталости на пользу тех, кого люблю я называть своими братьями и товарищами. И эта цель будет достигнута, и буду я счастлив, если мне удастся посеять в народе семена того учения, которое я признаю законом нравственного мира».

Прудон сдержал свое обещание. Вся жизнь его прошла в труде и в борьбе за народное дело.

Во время июльской монархии, в самый разгар общественного разврата, молодой и пылкий Прудон принялся за дело народного воспитания. Прежде всего, как настоящий отщепенец, не гоняясь за личной выгодой и положением в обществе, он стал внимательно изучать социальные вопросы. Текущая литература и журналистика его не занимали. В них он видел пустое словоизвержение, вздорную игру разных партий, которые увлекались ежедневными спорами и вовсе не думали о логическом проведении своих идей.

Желая разгадать смысл современной цивилизации, Прудон углубился в изучение памятников исторического Отщепенства и обратил особенное внимание на Библию и Евангелие. В них открыл он источник социализма, который с начала нашего века стал религией всех честных мыслителей. В первой своей брошюре «О праздновании воскресенья» (*De la célébration du Dimanche*, 1839) Прудон доказал, что Моисей, а за ним Христос были первыми социалистами, которые желали облегчить участь рабочего народа. За эту брошюру Безансонская академия наградила Прудона почетной медалью.

Но этот отщепенец не мечтал сделаться ученым археологом и академиком. Он изучал и писал не для стяжания похвал и наград, а с целью образовывать себя и других. Не упуская из вида вопросов социализма, от Библии он прямо перешел к разбору политической экономии.

И вот в 1840 году появляется знаменитое его сочинение «Что такое собственность?» — (*Qu'est-ce que la Propriété*). Это сочинение он посвятил той самой академии, которая наградила его медалью за первую брошюру и сделала его своим пенсионером. В своем

посвящении Прудон говорит:

«Вы, академики, назначая мне пенсию, поставили условием, чтобы я ежегодно отдавал вам отчет в своих занятиях. Я исполняю ваше желание и считаю долгом напомнить вам, что постоянно занимался, с целью принести пользу моим согражданам и в видах умственного и нравственного развития самого многочисленного и бедного класса рабочих. — Вы одобрили эту цель, и мне остается только представить на суд ваш мое сочинение, написанное по вашей программе».

«В этом сочинении я рассуждаю о собственности. Спешу предупредить вас, что я дурно отзываюсь о законоведах и жестоко нападаю на экономистов. Я не люблю вообще этих господ: их чванство и скудоумие меня бесят. Кто понимает их, конечно, не осудит меня за обличение их нелепостей».

«Еще несколько слов о значении моей книги: в ней нет литературных достоинств. По моему искреннему убеждению, в наше время и в нашем обществе писателю не следует заботиться о красоте слога; литераторство — нелепость и неуместность. Говори без страха все, что знаешь — вот правило, которое обязательно теперь для писателя, а вовсе не риторика».

Безансонские академики единогласно осудили сочинение Прудона, как антисоциальное, и публично заявили, что исключают его из списка своих пенсионеров. Прудон отвечал:

«После подобного приговора мне остается только просить читателей не думать, что все мои земляки так же глупы, как члены Безансонской академии».

В то самое время, когда ученые предавали анафеме книгу Прудона, ему уже угрожало судебное преследование. Но, по совету экономиста Бланки, министр юстиции велел остановить дело без последствий.

Сочинение Прудона «Что такое собственность?» навело ужас на всю буржуазию. Действительно, было чего испугаться!

Прудон говорил:

«Если бы меня спросили: что такое рабство? и я ответил бы — убийство, то мне не пришлось бы доказывать этого. Я не удивил бы никого, потому что лишать человека мысли и воли, то есть обращать его в раба, значит посягать на его жизнь, т. е. убивать. Почему же на вопрос: что такое собственность? я не могу сказать — кража, и надеяться, что меня поймут? Разве это последнее предложение отличается от первого?»

«Но сколько шуму и криков подымает мое определение собственности!

— Собственность — кража! Да это набат 93 года! Это воззвание к революции!

— Читатели, успокойтесь! Я вовсе не поджигатель восстания, не агент заговорщиков. Я только выражаю ту истину, которую вы напрасно пытаетесь обойти незнанием. Собственность — кража! Это определение вам кажется богохульством. Но знаете ли, что оно

стало бы для нас громоотводом, если бы вздорные предубеждения не мешали нам понимать его, как следует. К сожалению, сколько интересов и предрассудков восстает против него!.. Что делать, однако, если развязка приближается, если сила событий берет свое, независимо от всякого предсказания! И разве можно, наконец, не признавать правды и отказаться от разума?

Итак, читатели, не смущайтесь моим определением собственности. Имейте несколько мужества, чтобы следовать за мной». И если ваше желание искренно, а воля свободна и совесть покойна, если ваш рассудок умеет связать два предложения и вывести из них логическое заключение, то уверяю вас — мои мысли сделаются вашими. Бросая вам, в начале книги, ее последний вывод, я желал только предупредить вас, а не поразить наглостью. Мне верилось и верится еще, что я добьюсь непременно вашего одобрения. Все, что я стану доказывать, покажется вам так осязательно, верно и неоспоримо, что вы невольно изумитесь и скажите про себя: «как же, однако, я не подумал об этом раньше».

«Как поборник равенства, я буду говорить с вами без гнева и злобы, с независимостью мыслителя, с твердостью и спокойствием свободного человека».

Такими словами начинает Прудон свое сочинение; кончается же оно так:

«Старая цивилизация умирает. Восходящее солнце равенства освещает уже землю, и скоро закипит она иною жизнью. Пусть промелькнет еще поколение, пусть дряхлые вероломцы доживут последние дни. Но ты, молодежь, негодующая на разврат нашего века, ты, молодежь, жаждущая правды, борись смело за свободу, если любишь родину и признаешь интересы человечества. Очищай с себя грязь эгоизма и бросайся в народный поток равенства. В нем освежатся и окрепнут силы твои, и ты почувствуешь небывалую мощь: расслабленный ум твой приобретет несокрушимую логичность, а сердце, быть может уже развращенное, станет чистым и пылким. И все представится в истинном свете глазам твоим. С новыми чувствами зародятся и новые мысли: вера, нравственность, право — все займется тебе в ином, прекрасном и величественном виде. И с упованием и с увлечением будешь ты приветствовать зарю общего возрождения к новой жизни».

«А вы, бедные жертвы ненавистного закона! Я знаю, что вас грабят и унижают; я знаю, что труд ваш бесплоден, а отдых безнадежен... Но утешьтесь: ваши слезы переполнили меру. С горем и отчаянием сеяли отцы, но с радостью пожнут дети».

Прудон, называя собственность кражей, возбудил против себя страшное негодование... но только со стороны людей недобросовестных и преступных, со стороны всех тех, кто живет на счет чужого труда и считает свою покражу — благоприобретенною собственностью.

Прудон назвал собственность кражей. На каком основании? На том, что он считает лихоимство воровством, а экономисты объявляют это преступление правом собственности и с негодованием восстают против законов о лихве.

Лихоимство = право собственности.

Лихоимство = кража.

Лихоимство за лихоимство, в результате остается: собственность = кража.

Так и сказал Прудон. Разве он виноват, если экономисты, ярые защитники права собственности, доказывают, что лихоимствовать, то есть красть, значит пользоваться этим правом?!

По убеждению Прудона, собственник — вор вовсе не потому, что имеет собственность, а потому что лихоимствует, крадет. Уничтожьте лихоимство, и собственность перестанет быть кражей. Вот все, чего желает Прудон. Что же преступного в этом желании? Не того ли самого желали Моисей, Иисус Христос, апостолы и отцы церкви, которые осуждали и проклинали лихоимство! «Не украдь!» — говорит заповедь Моисея и Христа. «Бери лихву», т. е. вори, — говорят экономисты. На чьей стороне правда?

Итак, если собственность приобретается, сохраняется и увеличивается путем лихоимства, то она обращается в кражу. И подобная собственность, по словам Прудона, — преступна, потому что порождает и развивает нищету рабочего народа, укореняет разврат в обществе, извращает совесть людей и отрицает их свободу, равенство и братство.

«Экономисты должны знать, — говорит Прудон, — что задельная плата, которую получает работник, должна давать ему возможность выкупить произведение своего труда. И зная это, почему они осмеливаются защищать законность лихоимства, как права собственности? Почему они решаются уверять, что брать барыши не бесчестно? Хозяин платит работнику три франка, а сам продает произведение его труда вдвое, втрое, вдесятеро дороже, лихоимствуя и на счет материала, и на счет рабочей платы. Разве он поступает честно и справедливо?!»

«Во Франции 20 миллионов рабочих занимаются всевозможными отраслями производства и приготавливают массу вещей и товаров, необходимых и полезных для общества. Сумма всех заработков равняется ежегодно, положим, 20 миллиардам франков. Но вследствие того, что взимаются подати, пошлины и всякие налоги, берутся взятки, получают проценты, барыши, доходы, короче, вследствие того, что существует лихоимство, все произведения труда продаются не за 20, а за 25 миллиардов. Что это значит? Это значит, что масса рабочего народа, которая должна жить плодами своего труда, не может ими пользоваться: ей приходится платить 5 за то, что сработано только за 4, или голодать один день из пяти».

«Пусть найдется во Франции такой экономист, который докажет мне, что мой расчет неверен, и я тотчас принесу публичное покаяние и отрекусь от слов: «Собственность — кража».

Такого экономиста, разумеется, не нашлось не только во Франции, но не найдется никогда и в целом мире, пока будут жить люди и существовать математика.

Итак, лихоимствующая собственность несправедлива, преступна и, в заключение всего, нелепа, т. е. логически невозможна.

В своей книге Прудон логически и математически доказал:

- 1) Собственность невозможна, потому что сама по себе ничего не производит, а требует, чтобы для нее работали, т. е. давали собственнику средства жить без труда на чужой счет.
- 2) Собственность невозможна, потому что требует лихвы и заставляет платить себе больше, чем сама дает.
- 3) Собственность невозможна, потому что без труда уничтожается, а при труде от него избавляется. Другими словами: она не может существовать без рабочих, а с рабочими развивает класс тунеядцев и воров.
- 4) Собственность невозможна, потому что убийственна. Она постоянно грабит работника, лишает его средств к жизни, оставляет без труда и заработка и, в конце концов, морит медленным голодом, убивает рядом лишений и страданий.
- 5) Собственность невозможна, потому что с нею общество доходит до самопожирания. Общество пожирает себя насильственным прекращением и застоём работ и возвышением продажной цены произведений труда. С одной стороны, не всем работникам удастся работать, и они осуждаются голодать, а с другой — все рабочие, которым позволено трудиться, не в состоянии пользоваться плодами своего труда.
- 6) Собственность невозможна, потому что порождает деспотизм, поддерживает и укореняет насилие власти. Собственность несовместна с политическим и гражданским равенством; следовательно, она невозможна.
- 7) Собственность невозможна, потому что лихоимство, которым она живет и держится, тоже невозможно: в обществе чистый доход несмыслим.
- 8) Собственность невозможна, потому что, посягая на труд, посягает и на себя: собственники губят не только рабочих, но и собственников путем монополии и конкуренции. Говоря иначе: собственность отрицает, уничтожает собственность.
- 9) Собственность, наконец, невозможна; потому что доводит до взаимности воровства, грабежа, насилия, убийства и обращает людей в диких зверей, а общественную жизнь в людоедство.

Вот что такое собственность, против которой восставали разум и совесть всех народов, всех святых и честных людей. Кто защищает собственность, основанную на тунеядстве и лихоимстве, тот, значит, отрицает здравый смысл и правду, тот плюет на Евангелие и распинает Христа.

«Собственность, — говорит Иоанн Златоуст, — будет законна и справедлива только в том случае, когда мы будем пользоваться ею сообща. Обожатели собственности валяются как свинья в грязи, копошатся, как жуки в навозе, и воображают, что наслаждаются! Зачем ты, человек, так любишь собственность? Что нашел ты в ней привлекательного? Она вовсе не делает тебя умнее, великодушнее, умереннее, добрее и человечнее. Она не учит тебя обуздывать гнев и побеждать дикие страсти. Она не только не может укоренить ни одной добродетели, но напротив того — искореняет все добрые качества, сушит и мертвит душу

пагубными пороками — своекорыстием, алчностью, безумною злобою, гордостью и тщеславием. — Да, непримиримый враг и убийца наш — собственность, которая всегда изменяет своему хозяину. — Теперь нельзя положиться ни на кого, не на друга, ни на брата. Всюду свирепствует гражданская война, не открытая, а тайная, изменническая война. Всюду видишь только лицемерие и маски; всюду волки в овечьей шкуре. Скорее можно жить среди явных врагов, чем в обществе таких граждан. Кто вчера нам льстил, унижался и целовал руки, тот сегодня снимает маску и вступает во вражду. Что за причина? Жажда богатства, страсть к деньгам, та неизлечимая болезнь, та чума, которая заражает все общество».

Что было во времена Златоуста, в IV веке по Р. Х., то и теперь.

Работайте, твердят беспрестанно народу, работайте, копите деньги и делайтесь в свою очередь собственниками. Работники, вы — рекруты собственности. Когда она достанется вам, когда вы отведаете человеческого мяса, тогда будете довольны и забудете прежние лишения.

Из пролетариата попасть в собственника! Из раба превратится в тирана! Из жертвы в убийцу!

— Что такое пролетарий?

Пролетарий — работник, который трудится на глазах хозяина, собственника. Такому работнику говорится: "Тебе нет дела до собственности; ты не должен рассуждать о ней и проверять ее права и преимущества. Тебе дают задельную плату и больше ничего. Делай, что прикажут сегодня, а завтра ты будешь волен делать, что захочешь, если тебя оставят без работы. *Travailler pour les autres, c'est mourir pour les autres!*{40}

«Каждый собственник, — говорит Прудон, — пользуясь чужим трудом, в глубине своей грязной души питает мысль об убийстве. — Напрасно уверяют, будто собственник, который трудится и, вместе с тем, получает доходы, не тунеядствует. Он только заставляет платить себе больше, чем обыкновенный дармоед, который живет одними доходами. Что бы ни делал собственник, во всяком случае доход его — вознаграждение за право тунеядства, то есть грабеж. И заметьте, что подобный грабеж, который осуждается разумом, совестью и христианскою верою, оправдывается экономистами и защищается законниками!»

«Присутствовали вы когда-нибудь при допросе обвиненного? Замечали вы, как он хитрит, увертывается, отговаривается, путается? Его допрашивают, опровергают, доказывают ложность его показаний, короче — преследуют, как зверя на охоте, и ловят на каждом слове. Он то соглашается, то возражает, запирается, отрицает и поминутно впадает в противоречие».

«Так точно ведет себя собственник, когда вызывают его на объяснение и оправдание права собственности. Сначала он вовсе отказывается отвечать и только возмущается, негодует и угрожает взглядом, в котором выражается злоба. Затем, когда ему приходится поневоле объясняться, он начинает подбирать разные избитые доводы, пускается рассуждать об условиях общественной жизни, о необходимости порядка, о законности, о правах

наследства, о свободе договора, который освящает личную собственность, и т. д. Разбитый на всех этих пунктах, собственник выходит из себя и, с пеною у рта, бешено кричит: «Я владею законно, потому что работал, производил, улучшал, создавал. Этот дом, эти поля, эти деревья — плод трудов моих, произведение рук моих. Я строил, сажал, сеял, обращал пустыню в плодородную землю. Я присматривал за рабочими, платил им, и, если бы не нанимал их, они давно бы околели с голода. Никто за меня не расходовал и цц с кем я делиться не хочу».

«Ты работал, собственник! Зачем же ты болтал о порядке, о законах, о наследственном праве? Как! разве ты не был уверен в своей правоте или желал только потешиться над людьми и правдой?»

«Ты работал! Но что общего между трудом, который обязателен для всякого, и присвоением того, что принадлежит всем безраздельно? Разве ты не знал, что земля, как вода, воздух и свет, не может поступать в частное, исключительное пользование?»

«Ты работал! Но не заставлял ли ты работать за себя других? — вот что скажи. Каким же образом, работая для тебя, они потеряли то, что приобрел ты, не работая для них? "

«Ты работал! Прекрасно. Но посмотрим, однако, что ты сделал. Мы высчитаем, свесим, смерим, и тогда берегись! Если окажется, что ты разбогател на чужой счет, ты отдашь все до последней полушки». (Qu'est ce que la Propriété){41}.

«Капиталисты! Нападая на собственность, я вовсе не отрицаю права на пользование плодами честного труда; я отрицаю только барыши с капитала и доходы с собственности. Поймите же это!»

«Вы говорите часто, что собственность сама по себе хороша, но дурны только те собственники, которые злоупотребляют своим правом».

«Прекрасно! Но что такое собственность, спрашиваю я вас? Разве это не право пользования и, вместе с тем, злоупотребления? Как же отделить одно от другого? Как запретить, например, собственнику не злоупотреблять? Разве закон может определить для каждого случая, где кончается пользование и начинается злоупотребление собственности? Нет. Итак, что же оказывается? Оказывается то, что по принципу и сущности собственность безнравственна».

Все отщепенцы, начиная с апостолов и отцов церкви и кончая Прудоном, отрицали собственность. Отчего же законники и судьи, называя себя христианами, не признавали и не признают этого отрицания? Почему они считают себя вправе преследовать и наказывать тех, которые разделяют убеждения людей святых? Собственность лихоимствует, крадет, истощает и убивает бедняков и рабочих, а законы и суды защищают ее! Где же правда?

«Да, — восклицает Прудон, — и законы, которые поддерживают собственность, даже безнравственную, — позорны, и суды позорны, и полиция позорна». (Contrad. économ. 2 vol.){42}

В другом месте он говорит: «Собственность, в экономическом смысле этого слова, — не что иное, как veto, т. е. запрещение, которое капиталисты налагают на обращение всех произведений труда. Чтобы снять это запрещение, приходится платить собственности известную пошлину, которая, смотря по обстоятельствам, называется доходом, процентом, барышом, учетом, привилегией, премией, монополем, взяткой и т. д.»

«Эта чудовищная система налогов поддерживается полицией, судами, одним словом — государством. Она порождает целый ряд преступлений — торговый и промышленный обман, монополю, ажиотаж и т. д.»

«Итак, отрицая собственность, как причину этих зол, я отрицаю: 1) все господские права собственности, под какими бы названиями они ни заявлялись; 2) всех спутников собственности, несмотря на их величие, блеск и силу; 3) все палиативы или полумеры, которыми желают, не посягая на собственность, ослабить ее пагубное действие».

«Я доказал, что такое собственность, — говорит Прудон. — Верьте мне: я не изменю своей клятвы и буду верен делу отрицания, несмотря на скрежет зубовой». (Qu'est-ce que la Propriété){43}.

С 1840 года, в течение двадцати пяти лет, Прудон не переставал отрицать старого порядка, основанного на грабеже и насилии, и умер в святости Отщепенства.

В 1849 году Прудон воскликнул с трибуны: «Социализм не спускает глаз с капитала!» Этими словами он хотел сказать, что коренной вопрос Отщепенства заключается в отрицании прав капитала.

С этой поры «Социализм» стал пугалом для капиталистов и камнем веры для рабочих.

«Я за рабочих против капитала, — говорил Прудон. — Я не желаю никем управлять и не желаю также, чтобы управляли мною».

«Чтобы не было эксплуатации человека человеком посредством капитала».

«Чтобы не было эксплуатации посредством насилия человека над человеком».

«Свобода! — Вот первое и последнее слово общественной жизни».

«Защитники эксплуатации говорят: „Социальная революция есть цель, а революция политическая (т. е. перемещение власти из одних рук в другие) — средство“. Другими словами, они говорят: дайте нам право жизни и смерти над вами, и мы сделаем вас свободными!.. Вот уже более шести тысяч лет, как то же самое проповедуют отъявленные мошенники и тираны».

«Нет, — говорю я, — наоборот — политическая революция — цель, а социальная — средство. Воспитайте людей так, чтобы они не гонялись за властью, не старались бы эксплуатировать друг друга и считали бы себя равными — и цель ваша достигнута: политический порядок устроится и не потребует ни полиции, ни суда, ни жандарма, ни палача».

Облегчить участь бедного и самого многочисленного класса рабочих, обеспечить их труд и развить их умственные способности — вот задача Социализма. Всему своя пора! Довольно уже рабочий народ потрудились для тунеядцев; пора ему подумать и о себе.

«До революции 1789 года, — говорит Прудон, — церковь, как заботливая и нежная мать, утверждала: все для народа, но все с согласия духовенства. Монархия, в свою очередь, объявляла — все для народа, но все волею короля. Дворянство, наконец, уверяло: все для народа, но все по желанию господ».

«Затем, революционеры сказали: все для народа, но все по закону государства, по воле правительства».

«Наконец, плутократы решили: все для народа, но все в интересах буржуазии».

«Кто же, в заключение, заявит — все для народа и все народам? Отщепенец, социалист или никто. Все для народа: промышленность, торговля, земледелие, образование и т. д. Все народам: промышленность, торговля и т. д.»

«О рабочий народ, бедный, забитый, ограбленный народ! Когда ты перестанешь слушать шарлатанов и плутов, которые обещают постоянно облегчить твою жалкую участь путем политических реформ. Сообрази же, наконец, что всякая такая реформа основана на произволе, насилии и эксплуатации, то есть на всем том, что следует искоренять».

«А вы, великие политики! Вы толкуете о правах народа, а сами стойте на коленях перед золотым тельцом. Откажитесь поскорее от всяких обещаний, объявите прямо о стачке своей с лихоимцами, будьте искренними консерваторами и не лицемерьте во имя народа. Ваше настоящее дело — реакция; вы ничего лучше не придумаете, потому что не понимаете действительных желаний народа и не хотите их понимать. Народ не разделяется на партии. Но вы служите интересам известных партий, следовательно, действуем не в пользу народа, а против него. Консерваторы, вы считаете себя ловкими политиками и не замечаете, что вы слепы и водите за нос слепых».

«Социальный порядок отрицает всякое политическое устройство», — говорил Прудон и, в силу этого принципа, считал каждую конституцию если не обманом, то нелепостью.

«Как! — восклицал он, — вы желаете сделать людей свободнее, разумнее, честнее и, приступая к исполнению этого желания, требуете, чтобы они предварительно отказались от воли, разума и отдались в полное наше распоряжение! Кто вы такие? Откуда вы взялись? Почему считаете себя мудрецами и полагаете, что прочие не сумеют подымать сами о себе? Все, что есть разумного, полезного и справедливого в обществе, создалось свободой и логическим развитием прежних фактов. Что же касается власти, то она существует только для поддержания старого порядка. Желая придать ей другое значение, желая обратить ее в рычаг движения, вы делаете ее только орудием деспотизма и насилия. Кроме полицейской обязанности, государство не должно знать ничего. Всякое новое постановление, всякая новая мера с его стороны только помеха общественному развитию и нарушение порядка. Его труд — лихоимство; его поощрение — монополия, привилегия; его влияние — порча. Можно написать тысячи томов о государственных проделках и злоупотреблениях в

политике, в религии, в промышленности, в публичных работах, в финансах, в администрации и т. д.»

«Зачем вам власть? Зародилась в вашей голове полезная идея? Сделали вы важное открытие? — Спешите заявить об этом вашим согражданам, затем приступайте сами к делу, предпринимайте, действуйте и не просите у правительства никакого пособия. Обращайтесь к обществу, будите его, вызывайте в нем охоту к самодеятельности. Вместо того, чтобы нападать на власть, старайтесь избегать ее вмешательства и учите народ обходиться без нее для достижения богатства и порядка».

«Так понимал я всегда социализм; говорю по совести. И это всегда удаляло меня от разных практически-политических школ. Участвуя в законодательном собрании, я почти всегда подавал голос отрицания. Кроме одного проекта, предложенного мною этому собранию 31 июля 1849 года, когда я желал заявить новые принципы социальной жизни, я не обращался никогда к правительству ни с какою просьбою, ни с каким предложением. Как социалист и отщепенец, я не ожидал от власти ничего, кроме насилия, и требовал только свободы, одной свободы».

«Но вот раздаются громкие голоса...

«Власть, — восклицают плутократы, — должна устрашать и уничтожать тех непримиримых врагов общества, которые ненавидят всякий порядок. Эти враги — отщепенцы».

«Мы не будем оспаривать их теории. Скажем только, что нет той крайней свободы, которая удовлетворила бы их, нет слов, которыми можно было бы успокоить их. Они опутали общество тайною сетью, с целью без сомнения преступною. Позволить им злоумышлить во мраке было бы пагубною слабостью. — Трудолюбивые и честные работники гнушаются ими столько же, как и мы. Они знают, что отщепенские воззрения, стоящие вне права и нравственности, нелепы и неосуществимы; что, отняв у одних излишек, не доставишь другим даже необходимого; что такой образ действия убил бы кредит, уничтожил бы общественное богатство и породил бы общую нищету и отчаяние. Они знают, что только свободный труд под покровительством сильного и справедливого правительства может развить собственность и даровать благосостояние большинству. — Правительство должно положить конец этому пагубному влиянию во что бы то ни стало».

«Отщепенцы стоят вне права и нравственности, говорите вы, — отвечал им Прудон. — Вне права и нравственности! Следовательно — вне закона! И во что бы то ни стало следует поразить Отщепенство!»

«В первую революцию у нас были отщепенцы, люди бедные, недовольные общественным порядком, никогда не сказавшие свободе — довольной. Это были люди, обожавшие разум, утверждавшие совесть человека, верившие в справедливость и бывшие честными. Их называли в то время санкюлотами».

«Но знаете ли, что я скажу вам, плутократы и деспоты? Если бы санкюлотство, отщепенство, было таково, каким вы его представляете; если бы в эту годину политического и общественного отчаяния я был бы действительно бессовестен, беззаконен и безжалостен —

знаете ли вы, что я сделал бы!»

«Я не писал бы и не говорил о принципах, потому что в принципах кроется спасение для обществ и для правительств. Пусть, среди общего молчания, империя душит ненавистные принципы 89 года. Не боясь шпионов, я помалкивал бы и посмеивался втихомолку».

«Если же, не устояв против искушения, я решился бы писать, то ограничил бы мысль свою пределами беспощадной оппозиции. Вместо того, чтобы философствовать, я мстил бы. Умалчивая о принципах, я таил бы свое негодование и прятал бы свои когти. Пускаясь только в ученую критику, я сделал бы с моралью то же, что доктор Штраус с преданием церкви. Я показал бы, что справедливость не имеет основы ни в религии, которая ставит предмет ее вне человечества, ни в философии, которая обращает ее в отвлеченную идею; что ничто не доказывает в нас присутствия совести, и что поэтому право и обязанность — просто условные отношения; преступление — только военный риск, а общественный порядок — страховая премия. Доказав все это, я закончил бы презрительною насмешкой над свободой, равенством и добродетелью. Церковь со всеми религиозными сектами была бы раздавлена, уличена в противоречии и лицемерии. Наконец, в довершение моей мизантропической радости Отщепенство, которое всегда стремилось возродить общество к честной жизни, это самое Отщепенство, избличенное в бессилии, обратилось бы в миф, в химеру!»

«Вот что я мог бы сделать и чего не захотел сделать. В моем ужасном Отщепенстве я предпочел говорить обществу со всею независимостью моего разума и со всею энергиею моего нравственного чувства. Я видел, что для Отщепенства пришла пора или навсегда уничтожиться или, воссоздав справедливость, подать утопающему обществу руку спасения».

Отрицание существующего порядка грабежа и насилия — вот значение и назначение Отщепенства.

«Отрицать, беспрестанно отрицать! — восклицал Прудон в порыве страстного увлечения правдой Отщепенства. — Цель этого постоянного, неизменного отрицания состоит в том, чтобы освободить человека от рабства мысли, в котором держит его практическая жизнь с ее позором и преступлением».

Такое отрицание, разумеется, непонятно и противно людям с практическим взглядом на вещи, людям старого закала, потому что они хотят во что бы то ни стало быть мерзавцами. Стоит ли, после этого, рассуждать с такими нравственными уродами и мертвецами! Им говорят, что они идут вспять и верх ногами, а они твердят о своей практичности! Им говорят и доказывают, как дважды два, что они мерзавцы, а они обижаются и злятся! Что это — крайнее тупоумие и разврат совести или бессознательное, невольное признание своей подлости? Может быть и то, и другое.

Отрицая современный порядок со всеми его гнусностями, Прудон всегда вызывал против себя общее негодование.

«С 1849 года, — говорит он, — я стал в глазах общества, по выражению одного журналиста, „человеком ужаса“, homme-terreur.

Не думаю, чтобы кто-нибудь и когда-нибудь возбуждал против себя такое остервенение общественной, развращенной совести, как я, несчастный отщепенец. На меня лился поток насмешек, оскорблений, клевет и проклятий. Меня позорили и бичевали в журналах и газетах, в песнях и на сцене, в биографиях и карикатурах. Мне угрожали судом, тюрьмой, эшафотом, адскими муками. От меня отрекались прежние друзья, на меня доносили мои прежние единомышленники и во мне видели отъявленного врага мои старые товарищи и сотрудники. Набожные дамы присылали мне образа и ладонки, чтобы изгнать из меня нечистого духа. Публичные женщины и каторжники иронически приветствовали меня письмами, в которых выражался разврат общественного мнения. В законодательное собрание поминутно поступали просьбы о лишении меня депутатского звания...

Позволяя Сатане мучить Иова, Бог сказал: „Располагай его телом и душой, как хочешь, но не лишай его жизни“.

„Жить значит мыслить. — Итак, посягая на мою совесть, извращая мои мысли и задушевные убеждения, общество поступало со мною хуже, чем Сатана с Иовом. Оно называло меня проповедником воровства, извергом, чудовищем...“

„Да, вряд ли кому так удалось, как мне, расшевелить общество и поразить его в глубь испорченного сердца и заглохшей совести. И что же? В то самое время, когда подобное общество, в лице своих практических мудрецов, навязывало мне свое бесчестие, я спокойно говорил ему: Опомнись! В моих словах ты глотаешь свой позор и свое осуждение“.

„Лицемерное, святотатственное общество! Ты хвастаешь своими пороками, а между тем дрожишь при мысли о смерти и, не веруя не во что, думаешь, однако, что надо же все-таки во что-нибудь верить! В тебе погасла вера; но при всем твоим нравственным безобразии ты чувствуешь, что тебя не удовлетворяет практическая мудрость, и тебе хочется еще чего-то другого. У всех руки грязны, все запятнали себя воровством, а между тем каждый внутренне презирает лихоимство... Итак, нечего унывать! В этом гнилом обществе шевелится еще что-то человеческое — и оно может возродиться к честной жизни“.

„Нам, отщепенцам, нам, пророкам новой веры, нечего ожидать в настоящем; оно нас отлучает. Сколько из нас погибает — и никто не оплакивает нашей злосчастной доли. Та самая толпа, которой мы пролагаем путь к прогрессу, равнодушно или презрительно проходит мимо нас и топчет наши могилы. Пусть идет... Вперед, вперед! — вот наш лозунг, наша вера, наш фанатизм. Правда, мы падем, все, один за другим, но наше дело не пропадет даром. Наука соберет плоды нашего геройского отрицания, а потомство насладится тем счастьем, которого нам не доставало. Пусть же настоящее нас отвергает: это отвержение придает нам силу, и без отщепенства мы были бы ничтожны, гадки и вредны“.

Таков был Прудон, этот примерный отщепенец!

Заключение

„Блаженны алчущие и жаждущие правды! Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат нас, и будут поносить вас, и гнать и всячески злословить за Сына человеческого!“

Так говорил Иисус Христос ученикам своим, отщепенцам фарисейского общества.

Так должны утешать себя отщепенцы современного развратного общества практических людей.

„Что может быть подлее и бесстыднее таких людей! — восклицает Иоанн Златоуст. — Что может быть грязнее их рук, гнуснее их лица и срамнее их глаз! Они не знают и не признают ничего человеческого, а всех и все считают на деньги и о деньгах только думают“.

Горько, невыносимо горько жить отщепенцам в обществе подобных хищников! Жить с ними, сходиться, говорить, а тем более действовать с ними заодно — мучение, наказание и нравственная смерть.

Да минует всякого молодого, неиспорченного человека грязная чаша практической жизни! Пусть он знает, что эта жизнь неизбежно развратит его мысль и совесть и неизбежно омерзавит все его поступки. Пусть он знает, что в этой жизни нет жизни, потому что практические люди — мертвецы, которые хоронят друг друга.

Живой о живом и думай! А нет ничего живее Отщепенства, в котором во веки веков искали и находили спасение все честные и разумные люди, начиная с первых христиан и кончая последними социалистами.

Не понять тебе, практическому тунеядцу и лихоимцу, бессмертной идеи отщепенства, которое наводит на тебя невольный ужас. И страшно становится тебе за мерзкую практику, когда ты видишь, что есть живые люди, есть Отщепенцы, которые отрицают ее смысл и с отвращением от нее удаляются.

Примечания

В фигурных скобках

- 1 суета сует (лат.).
- 2 Я — римский гражданин (лат.).
- 3 неподвижная скала (лат.).
- 4 Что ты творишь, милейший мой? (лат.)
- 5 Златоуст. О славе в муках (лат.).
- 6 Тертуллиан (лат.).
- 7 Человек человеку — волк! (лат.).
- 8 Такие же волки, как и я (нем.).
- 9 круглая комната (лат.).
- 10 до предела (лат.).
- 11 Все сообща (лат.).
- 12 Ах, ах, разрушить они не в силах (лат.).
- 13 О горе, вечное горе тем, кто преклоняется перед образом Ваала (лат.).
- 14 объединения правительств (фр.).
- 15 букв. — акт воров (исп.).
- 16 к вящей славе Божией (девиз ордена иезуитов) (лат.).
- 17 Да свершится правосудие! (лат.)
- 18 Горе вам, красноречивым, твердившим слова утешения! (лат.)
- 19 если есть такие, что гибнут и застревают на мелком месте, что остается тем, кто идет вперед (лат.).
- 20 если, делая трудное дело, ищешь более легкого — будешь наказан (лат.).
- 21 Железный человек, 1786 (фр.).
- 22 Философские исследования о имущественном праве и хищениях. 1780 (фр.).
- 23 Теория гражданского права, 1767 (фр.).
- 24 Тут — частное владение, там — все общее (лат.).
- 25 стоит установить равенство, как у всех всего будет вдоволь (лат.).
- 26 Для удачного решения вопросов равенства и справедливости их надо решать вместе с другими вопросами судьбы человеческой и вместе с вопросами собственности (лат.).
- 27 Надежда на подлинное излечение и на доброе здоровье тогда только есть, когда есть необходимые лекарства и средства лечения (лат.).
- 28 (из тех) святых и верующих, которым внемлют, как бы праздна не была толпа (лат.).
- 29 обратитесь (сюда), богатые, владельцы земель и имуществ (лат.).
- 30 ведь этот остров точно одна семья (лат.).
- 31 Не может ничто, присваиваемое и скрываемое богатыми в своих интересах, получить имя и звание государственного, общего дела (лат.).
- 32 Стоит богатым начать производить махинации, прикрываясь общим благом, как тут же становится очевидным еще большее обнищание бедных (лат.).

33 Законодательство, основанное на юридических принципах, 1776; Соображения о естественном порядке в политических обществах, предлагаемых для рассмотрения экономистам, 1768 (лат.).

34 доспехи, святы с вражеского полководца (лат.).

35 кредо (фр.).

36 Реквием (лат.).

37 Речь Артура Тистльвуда¹⁴, осужденного за заговор в Cato street на жизнь министров Гарроуби, Ливерпуля, Веллингтона, Кестльри, Сидмута и др. и за намеренно низвергнуть конституцию и казненного с четырьмя товарищами, Д. Брунтом, Д. Айнгсом, У. Давидсоном и Р. Тидом 1 мая 1820. Манчестерская резня совершилась в 1819 году над многочисленным собранием чартистского народа¹⁵. Английская литература, а за ней и континентальная, успели замолчать это событие, и имена героев его живут только в юридических сборниках и в памяти народной.

38 Пунийская верность (вероломство) (лат.).

39 Пусть это делают купцы (фр.).

40 Работать для других, означает умирать для других! (фр.).

41 Что такое собственность (фр.).

42 Экономические противоречия в 2-х т. (фр.).

43 Что такое собственность (фр.).

Историческое отщепенчество

1 Стоики — представители стоицизма, философского учения, возникшего в конце IV в. до н. э. на основе эллинистической культуры. Название — от греческого stoa — портик (галерея с колоннами в Афинах, где учил философ Зенон, родоначальник стоицизма). Проповедовали идеал мудреца, любящего свою судьбу, а не себя, следующего природе, а не людям... Работы философвстоиков в области этики И логики сделали стоицизм одним из самых влиятельных направлений в культуре древнего мира.

3 Децемвиры — в Древнем Риме коллегия из 10 человек (decum — десять, vir — муж), выполнявшая специальные государственные поручения. Коллегии 451 и 450 г. до н. э. составили двенадцать таблиц (досок) законов — свод римского обычного права, легший в основу многих позднейших европейских законодательств.

3 Река, на которой находится Рим; для Древнего Рима была «пограничной».

4 Тацит (ок. 58 — ок. 117) — римский историк. Основные сочинения: «Анналы» и «История».

5 Тиберий (42 до н. э. — 37 н. э.) — римский император с 14 г.

8 Август (до 27 до н. э. Октавиан) (63 до н. э. — 14 н. э.) — римский император. Победой над римским полководцем Марком Антонием и египетской царицей Клеопатрой в 31 г. до н. э. положил конец гражданским войнам в римской империи. С 27 г. до н. э. — принцепс (первый в списке сенаторов); сохранил республиканские учреждения, но при этом всю власть сосредоточил в своих руках.

7 Клавдий (10 до н. э. — 54 н. э.) — римский император с 41 г., заложил основы имперского бюрократизма. Раздавал права римского гражданства провинциалам.

8 Каракалла (186—217) — римский император с 211 г. В 212 г. издал эдикт о предоставлении прав римского гражданства провинциалам. Деспотизм и жестокость его стали причиной заговора, в результате которого он был убит.

9 Плиний Старший (23 или 24—79) — римский писатель, историк, ученый. Его «Естественная история» — энциклопедия естественнонаучных знаний античного мира.

10 Ливий Тит (59 до н. э. — 17 н. э.) — римский историк, автор «Римской истории от основания города».

11 Цитата из «Энеиды» Вергилия (книга шестая).

12 Брут Марк Юний (85—42 до н. э.) — политический деятель древнего Рима, глава аристократической партии республиканцев. Организовал (вместе с Кассием) заговор против Юлия Цезаря.

13 Катон Старший (234—149 до н. э.) — римский писатель. Консул в 195 г. Прославился непримиримостью к Карфагену; все выступления в сенате заканчивал фразой: «Карфаген должен быть разрушен». Сохранился трактат Катона «О земледелии».

14 Сенека Луций Анней (ок. 4 до н. э. — 65 н. э.) — римский политический деятель, писатель, философ-стоик. Воспитатель Нерона (37—68), императора с 54 г. Покончил с собой, выразив этим поступком презрение к угрозам императора, человека болезненно подозрительного и садистски жестокого. Автор знаменитых «Писем к Луцилию».

16 Бентам Иеремия (1748—1832) — английский философ, социолог, юрист. Положил начало философии утилитаризма — направления в этике, основным принципом которого является идея о пользе как основе нравственности и критерии человеческих поступков.

16 Торкват Тит Манлий — победитель галлов, напавших на Рим. Известен также тем, что за невыполнение приказа казнил своего сына.

17 Галльское нашествие — ок. 390 г. до н. э., окончилось взятием и разрушением Рима. Согласно римскому преданию, город был избавлен от галлов внезапно появившимся войском Камилла.

18 Битва при Каннах — во время 2-й Пунической войны, 2 августа 216 г. до н. э., когда карфагенская армия Ганнибала в Юго-Восточной Италии (близ селения Канны) разбила 70-тысячное римское войско.

19 Цезарь Гай Юлий (102 или 100 — 44 до н. э.) — римский полководец, участник 1-го триумvirата (с Г. Помпеем и М. Лицинием Крассом) в 60 г. до н. э. В 49 г. начал борьбу с триумвирами за единовластие. В 45 г. стал во главе государства, разгромив Помпея. Убит в результате республиканского заговора. Известны его «Записки о галльской войне» и

«Записки о гражданских войнах». Ввел Юлианский календарь.

20 Калигула (12—41) — римский император с 37 г. Вызвал недовольство сената и императорской гвардии (преторианцев) своим непомерным тщеславием и стремлением к неограниченной власти; был убит преторианцами.

21 Плиний Младший (61 или 62 — ок. 114) — римский писатель. Консул в 100 г., императорский легат (уполномоченный сената) в провинциях Вифипия и Понт в 111—113 гг. Автор «Панегирика» императору Траяну (53—117), при котором римская империя достигла максимальных границ.

22 Марк Аврелий (121—180) — римский император с 161 г. Представитель позднего стоицизма. Основное сочинение: «Наедине с собой».

23 Тразеа (? —66 до н. э.) — римский сенатор; философ-стоик эпохи правления Нерона. Консул в 56 г.

24 Лабьен Тит — при Августе был известен как оратор и публицист республиканского образа мыслей. Его непримиримость к принципату Августа, неистовые нападки на существующий строй доставили ему прозвище *Rabies* (ярость).

25 Эпиктет (ок. 50 — ок. 140) — римский философ-стоик. В с Беседах", записанных его учеником Аррианом, развивал тему внутренней свободы человека, доказывал, что господни может быть рабом своих страстей, а раб свободным в своей духовной независи- мостЕ от внешнего мира. Выражая пассивный протест угнетенных классов против рабовладельческого строя, философия Эпиктета оказала влияние на христианство.

26 Вероятно, имеется в виду Антонин Великий (ок. 250—356) — основатель христианского монашества.

27 Возможно, имеется в виду Пахомий Серб (Логофет) — русский писатель-монах XV в.

25 Шейлок — персонаж пьесы Шекспира «Венецианский купец», ростовщик.

29 Всадники — привилегированное сословие в ряде античных государств (Афинах, Риме, Фессалии и др.), к которому принадлежали землевладельцы, крупные торговцы, ростовщики, военные и др.

20 То есть Л.-О. Рожар в памфлете «Les propos de Labienus» (1865).

21 Цицерон Марк Туллий (ЮС — 43 до п. э.) — римский политический деятель, оратор, писатель.

22 Лабьен Тит Атий — во время войны Цезаря с галлами был легатом, позже примкнул к Помпею, погиб в битве при Мунде в 45 г. до н. э.

33 Квинт Лабьен — сподвижник Брута и Кассия.

- 34 Парфяне — иранское племя, население Парфянского царства (250 до н. э. — 224 н. э.), соперничавшего с Римом на Востоке.
- 35 Микеланджело Буонарроти (1475—1564) — итальянский скульптор, архитектор, живописец, поэт.
- 38 Коклес — Гораций Коклит, герой войны с этрусками (508—507 до н. э.), известный тем, что переплыл Тибр в доспехах.
- 37 Гораций — Квинт Гораций Флакк (65—8 до н. э.), римский поэт, величавший лирик античности.
- 38 Эпименид — жрец, живший в VII—VI в. до н. э. на о. Крите. По словам Аристотеля, он не предсказывал будущего, но разъяснял темное прошлое. По одному из преданий, Эпименид заснул в зачарованной пещере и проснулся через 57 лет (эта легенда легла в основу «Пробуждения Эпименида» Гете).
- 39 Битва при Филиппах — в Македонии осенью 42 г. до н. э., когда войска триумвиров Антония и Октавия разбили Брута и Кассия, которые покончили с собой, не желая быть плененными.
- 40 Фабриций Гай — римский консул 476 и 472 г. до н. э., победитель эпирского царя Пирра. Был известен аскетическим образом жизни.
- 41 Камилл Марк Фурий (? — 365 до н. э.) — римский полководец, патриций, глава аристократической партии. В 367 г. разбил галлов на Альбе.
- 45 Агриппа (ок. 63—12 до н. э.) — римский полководец, сподвижник Августа.
- 43 Галлион — римский проконсул, брат Сенеки. Среди римских аристократов слыл образцом любезности, за что прозван был Сладким.
- 44 Меценат Гай Цильний (ок. 70—8 до н. э.) — римский государственный деятель, близкий друг и помощник Августа, обладавший независимым характером. Покровительствовал Горацию и другим римским поэтам.
- 48 Цинна (? — 84 до н. э.) — римский консул 87 и 86 г. Вместе с Г. Марием совершил переворот в 87 г.
- 48 Проскрипции — в древнем Риме списки лиц, объявленных вне закона.
- 47 Узурпация — насильственный захват власти или присвоение чужих прав, полномочий.
- 48 Сцилла и Харибда — в греческой мифологии два чудовища, жившие по сторонам узкого Мессинского пролива и губившие мореходов. «Из Харибды в Сциллу» — из одной опасности в другую.

49 Аристарх — александрийский грамматик, живший в II веке до и. э. Занимался истолкованием и критикой греческих поэтов.

50 От Варля до Атеиодора перечислены римские писатели, прославлявшие в своих произведениях Августа.

51 Имеется в виду известный по обличениям Цицерона римский всадник Кай Веррес, который, будучи квестором (помощником консула) в Цизальпийской Галлии, утаил доверенную ему кассу (84 г. до н. э.), а позднее, уже как наместник Сицилии, выжал из населения разными способами 40 млн сестерций. Был приговорен к изгнанию и возврату похищенного.

52 Иоанн Златоуст (ок. 350—407) — византийский церковный деятель, епископ Константинополя, обличитель общественных пороков.

53 Августин Блаженный Аврелий (354—430) — христианский теолог и церковный деятель; родоначальник христианской философии истории («О граде божием»).

54 Св. Поликарп (ок. 80 — ок. 170) — епископ г. Смирны; мученически погиб во время гонений на малоазийских христиан со стороны Марка Аврелия.

55 Назаряне — по названию места, где провел детство Иисус Христос (г. Назарет), — христиане.

56 Соломон — царь Израильско-иудейского царства в 965—928 гг. до н. э., славившийся, согласно христианской традиции, необычайной мудростью.

57 Платон (428 или 427—348 или 347 до н. э.) — древнегреческий мыслитель, основоположник идеалистической философии. Главные сочинения — «диалоги»: «Апология Сократа», «Федон», «Пир», «Федр», «Государство», «Теэтет», «Парменид», «Софист».

58 Сократ (470/469—399 до н. э.) — древнегреческий философ, один из основоположников диалектики как метода отыскания истины. Излагал свое учение устно. Главный источник учения Сократа — сочинения его учеников Ксенофонта и Платона.

59 Аристотель (384—322 до н. э.) — древнегреческий мыслитель. Основоположник формальной логики. Сочинения Аристотеля охватывали все области тогдашнего знания и оказали огромное влияние на последующее развитие философии, теории искусства, естественных наук.

60 Ирод I Великий (ок. 73—4 до н. э.) — царь Иудеи, овладел тронном с помощью римских войск. Болезненно подозрительный и властолюбивый, уничтожал всех, в ком видел соперников. В христианской мифологии ему приписывается «избиение младенцев» при известии о рождении Христа.

61 Иоанн — Предтеча (Креститель) — библейский пророк. Был казнен царем Иродом.

- 62 Илия (Илья) — библейский пророк, деятельность которого относится к царствованию Ахава. Илия обличал Ахава за нечестивость, нарушение канонов религии Иеговы.
- 63 Ахав (917—895 до н. э.) — царь израильский, ввел в царстве культ Ваала — Астарты.
- 64 Плиний — см. примеч. 21.
- 65 Адриан (76—138) — римский император с 117 г. Усилил императорскую власть и централизацию государственных учреждений.
- 66 Лукиан Марк Анней (39—65) — римский поэт, автор исторической поэмы «Фарсалия, или О гражданской войне» (между Цезарем и Помпеем).
- 67 Диоклетиан (243 — между 313 и 316) — римский император в 284—305 гг. Установил неограниченную монархию (доминат). В 303—304 гг. предпринял гонения на христиан.
- 68 Компиляторы — лица, занимающиеся составлением произведений на основе чужих исследований без самостоятельной обработки источников и без ссылок на авторов.
- 69 Имеется в виду «Декларация прав человека и гражданина», принятая Учредительным собранием Франции 26 августа 1789 г.
- 70 Имеется в виду Григорий VII Гильдебранд (между 1015 и 1020—1085) — римский папа с 1073 г. Запретил продажу и покупку церковных должностей и духовного сана. Ввел обязательное безбрачие католического духовенства. Между ним и германским королем, императором «Священной Римской империи» Генрихом IV (1050—1106), шла упорная борьба.
- 71 Возможно, имеется в виду Василий Великий (Кесарийский) (ок. 330—379) — Церковный деятель, философ-платоник.
- 72 Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс (ок. 160 — после 220) — христианский писатель-богослов, в конце жизни порвавший с церковью, упрекая ее в недостаточном следовании принципам аскетизма и мученичества.
- 73 Пипин Короткий (714—768) — франкский король с 751 г. Свергнув последнего короля из династии Меровингов, основал династию Каролингов.
- 74 Вилланы — крестьяне во Франции, Италии, Германии, лично свободные, но зависимые от феодала, как пользующиеся его землей. В Англии до XVI в. — крепостные.
- 78 Кондотьеры — в Италии XIV—XVI вв. предводители наемных военных отрядов, находившихся на службе у европейских правителей и римских пап.
- 78 Стюарты — королевская династия в Шотландии (1371—1714) и в Англии (1603—1649, 1660—1714).

17 Гоббс Томас (1588—1679) — английский философ, родоначальник механистического материализма. Главные труды: «Левиафан» (1651), «Основы философии».

78 Иннокентий III (1160 или 1161—1216) — римский папа с 1198 г. По его инициативе был организован 4-й крестовый поход — против Византии.

79 Имеется в виду Генрих IV (см. примеч. 70).

80 Иоанн XII (? —964) — римский папа в 955—963 гг.

81 Александр VI (Родриго Борджа) (1431—1503) — римский папа с 1492 г. Устранял политических противников с помощью тайных убийств. В 1497 г. отлучил от церкви Дж. Савонаролу, выступавшего против тирании Медичи и обличавшего папство, и способствовал его казни.

82 Донатисты (от имени руководителя, епископа Доната) — в IV—V вв. религиозная секта в Северной Африке, выступавшая против римского господства и официальной христианской церкви, в основном городская беднота, рабы и колоны (мелкие аемельные арендаторы).

83 Анабаптисты (перекрещенцы) — участники сектантского движения эпохи Реформации XVI в. (главным образом, в Германии, Швейцарии, Нидерландах). Отрицали церковную иерархию, осуждали богатство, проповедовали необходимость общности имущества.

84 Жаки — участники Жакерии (крестьянского восстания во Франции в 1358 г.)

85 Санкюлоты (от франц. sans — без и culotte — короткие штаны) — так аристократы называли городскую бедноту. В годы якобинской диктатуры (1793—1794) — самоназвание революционеров.

86 Солунский Евстафий (ок. 1115 — ок. 1195) — византийский церковный писатель, автор нашумевшего памфлета о падении нравов монашества.

87 Манихейцы — участники религиозного движения, возникшего в III в. и распространившегося от Китая до Испании. Проповедовали учение о борьбе добра и зла, света и тьмы как изначальных принципов бытия.

83 Катары — приверженцы ереси XI—XIII вв., считавшие материальный мир порождением дьявола. Призывали к аскетизму, обличали католическое духовенство.

88 Бальденцы — приверженцы ереси конца XII в., возникновение которой связывалось с именем лионского купца Пьера Ваядо. Призывали к аскетизму.

90 Альбигойцы — участники еретического движения в Южной Франции в XII—XIII вв., в основном ремесленники и крестьяне. Выступали против догматов католической церкви и церковного землепользования. Осуждены Вселенским собором 1215 г. В так называемых Альбигойских войнах (1209—1229) были разгромлены.

91 Франциск Ассизский (1181 или 1182—1226) — итальянский проповедник, автор религиозных поэтических произведений. Основал в 1207—1209 гг. так называемый нищенствующий орден (францисканцы).

92 Лолларды — народные проповедники, участники антикатолического движения в Англии и других странах Западной Европы в XIV в. Сыграли важную роль в подготовке восстания Уота Тайлера и в целом Реформации.

93 Иоанниты (госпитальеры) — члены духовно-рыцарского ордена, основанного в начале XII в. крестоносцами в Палестине. Название по месту первоначального расположения (госпиталь св. Иоанна в Иерусалиме).

94 Виклсф — Унклпф Джон (между 1320 и 1330—1384) — идеолог английской бюргерской ереси. Отвергал папство, обряды и таинства католицизма.

98 Табориты — в Чехии революционное антифеодалное крыло последователей учения Яна Гуса — гуситов (1-я половина XV в.).

96 Уот Тэйлер (Тайлер) (? —1381) — вождь крестьянского восстания в Англии в 1381 г. Был предательски убит во время переговоров с королем Ричардом II.

87 Ричард II (1367—1400) — английский король в 1377—1399 гг., — последний из династии Плантагспетов.

98 Генрих V (1387—1422) — английский король с 1413 г., из династии Ланкастеров.

89 Гус Ян (1371—1415) — национальный герой чешского народа, идеолог Реформации в Чехии. Вдохновитель борьбы чехов против немецкого засилья и католической церкви. Был осужден церковным собором в Констанце и приговорен к сожжению на костре.

100 Прокоп Великий (ок. 1389—1431) — военный и политический вождь таборитов с 1426 г. Одержал победы над немецкими войсками (1426) и войсками феодально-католических сил (1427, 1431).

101 Сампсон (Самсон) — в библейской мифологии богатырь, огромная сила которого была заключена в его длинных волосах. Его возлюбленная, филистимлянка Далила остригла у спящего Самсона волосы, и вражеские воины ослепили его и заковали в цепи.

102 Филистимляне — народ, населявший с XII в. до н. э. юго-восточное побережье Средиземного моря.

103 Мюнцер Тома (Томас Мюнцер) (ок. 1490—1525) — идеолог и вождь крестьянско-плебейских масс в Реформации и Крестьянской войне 1524—1526 гг. в Германии, проповедовал идеи народовластия и создания общества без эксплуатации и частной собственности. Потерпел поражение у г. Франкенхаузеи, взят в плен и казнен.

104 Декреталии — декреты.

105 Арманьяки — феодальная группировка во Франции, которую возглавлял граф Арманьяк. Боролась за власть в годы правления слабоумного короля Карла VI (1368—1422; король с 1380 г.) с бургундскими герцогами — бургиньонами.

106 Ландскнехты — немецкая наемная пехота в XV—XVII вв.

107 Франкония — историческая область Германии (ныне в составе ФРГ).

108 Швабия — в период раннего средневековья область расселения швабов (алеманнов), одно из герцогств королевства Германии.

109 Филипп IV Красивый (1268—1314) — французский король с 1285 г. Поставил папство в зависимость от королевской власти.

110 Филипп Орлеанский — Луи Филипп Жозеф (1747—1793), герцог Орлеанский, представитель младшей ветви династии Бурбонов. Во время Великой французской революции отказался от титула, приняв фамилию Эгалите (т. е. равенство). Будучи членом Конвента, проголосовал за казнь короля.

111 Моисей — в библейской мифологии предводитель Израильских племен; согласно преданию, вывел израильтян из египетского рабства через расступившиеся воды Красного моря.

112 Иезекииль — древнееврейский пророк VII в. до н. э. Согласно христианской традиции, автор книги Ветхого завета.

115 Валаам — библейский прорицатель.

114 Авраам — мифический родоначальник евреев.

116 Сигизмунд I (1368—1437) — император «Священной Римской империи» с 1410 г. Вместе с римским папой возглавлял борьбу европейских феодалов против гуситов.

116 Филипп II (1527—1598) — испанский король с 1556 г. При нем происходило укрепление абсолютизма, усилился испанский гнет в Нидерландах. Известен также ревностной поддержкой инквизиции.

117 Людовик XIV (1638—1715) — французский король с 1643 г. Абсолютизм во Франции при нем достиг предела (ему приписывается изречение: «Государство — это я»). Вел многочисленные войны, вызывая недовольство народных масс, часто поднимавших восстания.

118 Торквемада Томас (ок. 1420—1498) — с 80-х годов великий инквизитор (глава испанской инквизиции).

112 Альба Альварес де Толедо Фернандо (1507—1582) — герцог, испанский полководец, правитель Нидерландов в 1567—1573 гг. Пытался подавить Нидерландскую буржуазную

революцию (1566—1609), завершившуюся освобождением от испанского господства северных провинций.

120 Гизы — французский аристократический род. В данном случае, возможно, имнется в виду Генрих Гиз (1550—1580), один из организаторов Варфоломеевской ночи.

121 Антиох 111 Великий (242—187 до н. э.) — царь государства Селевкидов с 223 г. В 212—205 гг. подчинил парфян и Бактрию. Потерпел поражение от римлян в Сирийской войне 192—188 гг. Лициний (ок. 250—325) — римский император с 303—324 гг. В 313 г. издал эдикт о свободном исповедании христианства. В борьбе с Константином I за власть над всей империей был побежден и казнен.

122 Монахи св. Доминика (доминиканцы) — члены нищенствующего ордена, основанного в 1215 г. испанским монахом Домиником.

123 Тамерлан (Тимур) (1336—1405) — среднеазиатский государственный деятель, полководец, эмир с 1370 г. Основатель государства со столицей в Самарканде. Разгромил Золотую Орду; предпринимал грабительские походы в Закавказье, Иран, Индию, Малую Азию и др.

124 auto de fé (аутодафе) — букв. акт веры (испанск. и португальск.) — торжественное оглашение приговора инквизиции в Испании и Португалия, а также само исполнение приговора, чаще всего — публичное сожжение осужденных.

125 Эшафоты Гревской площади — имеется в виду площадь пород ратушей в Париже, которая до 1830 г. была местом казни.

125 Версаль — пригород Парижа. В 1682—1789 гг. был резиденцией французских королей.

127 Эскуриал (Эскориал) — город в Испания, близ Мадрида; резиденция испанских королей.

128 Столпники — христиане, выполнявшие обет неподвижного стояния на колоннах (столбах, столпах).

129 Мартиролог (от греч. martyres — мученик и logos — слово, сказание) — 1) В христианской церковной литературе сборник повествований о мучениках и святых; 2) Перечень жертв гонений, преследований, а также перечень перенесенных кем-либо страданий.

130 Гугеноты — протестанты, последователи Кальвина во Франции XVI—XVIII вв. Борьба гугенотов с католиками вылилась в так называемые Религиозные войны.

131 Цвинглианс (по имени основателя движения У. Цвингли) — протестанты в Швейцарии и Германии в XVI в.

132 Евхаристия — в христианстве то же, что причащение.

135 Орден иезуитов — католический монашеский орден, основанный в 1534 г. в Париже Игнатием Лойолой. Был главным орудием Контрреформации. Во имя «истинной веры» иезуиты готовы были пойти и действительно шли на любое преступление.

134 Карл V Мудрый (1338—1380) — французский король с 1364 г.

135 Кампанелла Томмазо (1568—1639) — итальянский философ, политический деятель, поэт. В 1598—1599 гг. возглавил в Калабрии заговор против испанского владычества, был схвачен и около 27 лет провел в тюрьмах, где написал десятки сочинений по философии, политике, медицине, астрономии, в том числе коммунистическую утопию «Город Солнца».

138 Морелли — французский писатель, философ, один из ранних представителей утопического коммунизма. Основные сочинения: «Базилиада» и «Кодекс природы, или истинный дух ее законов» (1755). В коммунизме Морелли видел строй, соответствующий естественным свойствам человека.

137 Мабли Габриель Бонно де (1709—1785) — французский политический писатель и философ, коммунист-утопист.

138 Бэкон Фрэнсис (1561—1626) — английский философ, родоначальник английского материализма. Автор утопии «Новая Атлантида».

139 Гаррингтон Джоймс (1611—1677) — английский публицист эпохи Английской буржуазной революции XVII в. В сочинении «Республика Океания» (1656) предложил конституцию утопической буржуазно-дворянской республики.

140 Ману — в индийской мифологии прародитель людей. Законы Ману — сборник предписаний о правилах поведения лидийца в частной и общественной жизни, содержит также наставления по судопроизводству и управлению государством.

141 Бриссо Жак Пьер (1754—1793) — деятель Великой французской революции, лидер жирондистов. В Конвенте с 1792 г. возглавлял борьбу против якобинцев. Казней по приговору Революционного трибунала.

142 Генрих VIII (1491—1547) — английский король с 1509 г., из династии Тюдоров. С 1534 г. — глава англиканской церкви.

143 Иосиф II (1741—1790) — австрийский эрцгерцог, император «Священной Римской империи». Проводил политику так называемого просвещенного абсолютизма.

144 Пальмира — древний город на территории северо-восточной Сирии, был крупным центром караванной торговли и ремесел.

Современное отщепенчество

- 1 Сен-Жюст Луи (1767—1794) — выдающийся деятель Великой французской революции, сторонник М. Робеспьера. Один из организаторов побед революционной армии над интервентами в период якобинской диктатуры.
- 2 Пеккер Жак (1732—1804) — французский министр финансов в 1777—1781, 1788—1790 гг. Частичными реформами пытался спасти государство от финансового краха.
- 3 Тюрго Анн Робер Жак (1727—1781) — французский государственный деятель, философ-просветитель, экономист.
- 4 Робеспьер Максимилиен (1758—1794) — выдающийся деятель Великой французской революции, был фактически главой якобинского правительства. Казнен после контрреволюционного переворота 27 июля (9 термидора) 1794 г.
- 5 Монтескье Шарль Луи (1689—1755) — французский просветитель, правовед, философ, противник абсолютизма. Основные сочинения: «Персидские письма» (1721) и «О духе законов» (1748).
- 6 Минос — легендарный царь Кноса, которому легенда приписывает первое на Крите законодательство.
- 7 Ликург — легендарный спартанский законодатель (IX—VIII в. до н. э.).
- 8 Солон (между 640 и 635 — о к. 559 до н. э.) — афинский архонт, провел реформы, ускорившие ликвидацию пережитков родового строя.
- 9 Лациум (Лацио) — область в центральной Италии, административным центром которой является Рим.
- 10 Пума Помпилий — согласно античной традиции, второй царь древнего Рила в 715—673/672 гг. до н. э. Ввел религиозные культы, создал коллегии жрецов, ремесленников и проч.
- 11 Леру Пьер (1797—1871) — французский философ, последователь А. Сен-Симона, считавший нравственное изменение общества основным условием социальных преобразований. Один из основателей христианского социализма (ввел само слово «социализм»).
- 12 Авгуры — в древнем Риме коллегия жрецов, толковавшие волю богов по крику и полету птиц.
- 13 Альбион — название Британских островов, известное еще древним грекам.
- 14 Тистлвуд Артур (1774—1820) — английский революционный демократ. Организовал ряд заговоров, направленных на свержение буржуазного строя. Казнен.

15 Чартисты — участники чартизма (от англ. charter — харгня), первого политически оформленного революционного движения пролетариата в Великобритании в 1830—1850-е годы. Требования чартистов были изложены в «Народной хартии» (1838) — своеобразном законопроекте!).

Фурье

1 Декарт Рене (1596—1650) — французский философ, математик, физик и физиолог. Основные сочинения: «Геометрия», «Рассуждение о методе», «Напала философии».

2 Буало Никола (1636—1711) — французский поэт, теоретик классицизма.